

A black and white portrait of a man, Georgiy Zhzhenov, looking slightly to the right. He is wearing a dark suit jacket, a white shirt, and a dark tie. The background is a textured, mottled grey.

*Мой 20
век*

— П —
рожитое

—
Георгий Жженов

Annotation

Народный артист СССР Георгий Жженев, давно и прочно любимый миллионами кинозрителей, начал сниматься в кино еще в 1930-е годы (успел сыграть и в легендарном «Чапаеве» братьев Васильевых), но потом исчез из поля зрительского внимания на долгих семнадцать лет. В эти годы ему пришлось полной мерой хлебнуть лиха, пройти через тюрьмы, лагеря, ссылку. Об этом он и вспоминает в своей книге «Прожитое».

В книге «Прожитое» Георгий Жженой вспоминает в основном о самых трудных годах своей жизни — о том времени, когда он был узником ГУЛага.

Но его рассказ, исполненный простоты, высокой правды и печали, не оставляет ощущения безысходности. И не только потому, что на трагические события своей жизни автор порой глядит с присущим ему юмором, но и потому, что многие испытания он сумел одолеть силой своего характера, своего духа. Читая его книгу, понимаешь, почему и в жизни, и на киноэкране, и на театральных подмостках Георгий Жженев был для миллионов своих современников эталоном личности.

Неслучайно за вклад в актерскую профессию он, народный артист СССР, удостоивался главных наград двух киноакадемий («Золотой орел» и «Ника») в номинации «Честь и достоинство».

В книге использованы фотографии из личного архива автора

- [Георгий Жженев](#)
 - [От автора](#)
 - [Детство](#)
 - [Что делать?](#)
 - [Арест](#)
 - [«Кресты»](#)
 - [«Я послал тебе черную розу...»](#)
 - [Этап](#)
 - [47-й километр](#)
 - [Поворот судьбы](#)
 - [Убийство](#)
 - [Саночки](#)
 - [Клейменный](#)
 - [От «Глухаря» до «Жар-птицы»](#)

- [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [Реквием](#)
 - [Иллюстрации](#)
 - [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
-

Георгий Жженов
ПРОЖИТОЕ

От автора

До недавнего времени все, кого интересовало мое прошлое, при встречах на улицах, в театре, в поездах и самолетах, на творческих встречах и особенно в своих письмах мне, касаясь периода моей жизни на Севере, спрашивали: «Скажите, Георгий Степанович, вы поехали на Колыму и на Таймыр по комсомольской путевке?»

Потом — уже после публикации рассказа «Саночки» в журнале «Огонек» и книжки «Омчагская долина» — вопрос стал звучать иначе: «А за что вас посадили, Георгий Степанович?»

И хотя большинство спрашивавших не хуже меня знали, что репрессиям подвергались миллионы безвинных, мой ответ «Ни за что» никого не устраивал. В таких случаях мне говорили: «Вы нас не так поняли, мы верим, что вы не виноваты, что вы не враг народа... Но мы хотим знать конкретный повод, по которому из вас — двадцатидвухлетнего — состряпали «государственного преступника»! Что это было? Неосторожно оброненное слово, рассказанный анекдот, «опасное» знакомство, донос или что другое?..»

В предлагаемых читателю записках я пытаюсь извлечь из недр моего прошлого события более чем полувековой давности.

Пытаюсь воскресить, вытащить из архивов пережитого страницы жизни, давным-давно прочитанные, перевернутые быстро бегущим временем и похороненные в бездонных кладовых забвения...

Единственным и не всегда надежным помощником в этом мучительно трудном деле, затеянном мною на девятом десятке лет, является память.

Человеческая память — гигантский музей, хранящий в своих «запасниках» все не востребованное временем, все забытое!..

Никаких других источников, по которым я мог бы сверить собственную память с действительностью, с фактами чудовищного произвола властей, в моем распоряжении нет. И спросить некого...

Один за другим уходят из жизни последние свидетели — человек не вечен! Годы, проведенные в царстве ГУЛАГ, не способствуют долголетию... Среди товарищей по несчастью я был одним из самых молодых тогда.

До ареста дневников или записных книжек не вел. Всегда хотел, неоднократно давал себе обещания записывать самое интересное и существенное, даже начинал, но дальше начинаний, как правило, дело не

шло — легкомысленно надеялся на свою молодую память.

Позже — в заключении, когда еще жива была надежда на возвращение, когда особенно хотелось запомнить все, что происходило со мной и вокруг меня, чтобы когда-нибудь на свободе рассказать обо всем людям, — вести дневниковые записи, а тем более хранить их было равносильно самоубийству.

В то время обнаруженный при обыске автомат, тайно хранимый заключенным, грозил бы последнему меньшей карой, нежели найденные при нем записи, сделанные за «колючей проволокой»...

В годы лагерного произвола увековеченных слов боялись больше, чем оружия. И не без основания: все беззакония всегда творились скрытно от народа! Тайну преступлений оберегают тщательно — нарушителей и свидетелей не щадят.

Итак, надежда только на собственную память...

Началом всех несчастий в нашей семье явился роковой декабрь 1934 года, когда был убит Сергей Миронович Киров.

В эти скорбные для ленинградцев дни университет, в числе других организаций и предприятий города, отдавал последний долг памяти партийному лидеру, тело которого было выставлено для прощания в Таврическом дворце, недалеко от Смольного.

Стояли сильные декабрьские морозы...

Мой брат Борис, студент механико-математического факультета университета, обратился к комсоргу своего курса с просьбой разрешить ему остаться. Показав на свои разбитые ботинки, он сказал: «Если я пойду в Таврический дворец, я обязательно обморожу ноги. Какой смысл? Кирову это не поможет».

Комсорг донес об этом в комитет комсомола университета, несколько извратив слова брата. В его редакции они выглядели так: «От того, что я пойду прощаться, Киров не воскреснет».

Последовало немедленное исключение его из университета. И как следствие этого — лишение прописки, то есть права жительства в городе Ленинграде.

Почти весь 1935 год брат обивал пороги Верховной прокуратуры СССР в Москве, протестуя против несправедливого исключения.

В конце концов его восстановили в правах студента, и он вернулся в Ленинград. А в декабре 1936-го почтальон принес повестку, обязывающую брата явиться в Управление НКВД на Литейном проспекте.

Несколько дней этот зловещий листок лежал на комодке, рождая в каждом из нас безотчетный страх и недобрые предчувствия, словно

похоронка.

В назначенный в повестке день, 5 декабря (день сталинской Конституции!), Борис, не заходя в университет, ушел в «Большой дом». Домой он оттуда не вернулся никогда!

По несправедному приговору Ленинградского областного суда в мае 1937 года его осудили на семь лет за «антисоветскую деятельность».

Перед отправкой на этап нам с матерью было разрешено свидание с ним. Без жгучего стыда не могу вспоминать свое поведение в тот день.

В комнату свиданий, разделенную зарешеченным барьером, отделяющим заключенных от посетителей, ввели брата... Когда я взглянул в его лицо, за месяцы тюрьмы приобретшее характерный землистый цвет, в его внимательные, умные глаза, выражавшие одновременно и радость встречи, и притаившееся в глубине страдание, тщетно скрываемое им, меня вдруг захлестнула такая обжигающая душу жалость... Захотелось немедленно предпринять что-то... Утешить его, подбодрить, вселить надежду...

Не найдя ничего более умного, я понес какую-то жуткую околесицу насчет добросовестного гурда, вознаграждаемого в нашей стране... Бормотал жалкую несусветную чушь из арсенала пропагандистских «сказок про белого бычка»... «Не отчаивайся, — говорил я ему, — постарайся хорошо работать в лагере. Твои семь лет проскочат за два-три года... И не заметишь, как выйдешь на волю. Тому, кто добросовестно и хорошо работает, каждый день засчитывается за три... Труд — великая сила, в нашем государстве особенно! Только возьми себя в руки, забудь обиды и работай... Все будет хорошо!»

С каждым моим словом Борис мрачнел все больше и больше, уходил в себя... В его жестком взгляде, устремленном на меня, читались стыд и презрение. Наконец он не вытерпел: «Пошел вон отсюда, болван! Позови мать».

Господи!.. Какой я еще был мальчишка, теленок, смотревший на мир сквозь «розовые очки»!.. Да и не я один — большинство были такими. Так нас воспитали лицемерные вожди! Жизнь страны мы воспринимали прежде всего через ликование первомайских площадей, через физкультурный, хоровой энтузиазм праздничных стадионов!..

С искренней верой и простодушием мы лихо распевали побасенки Лебедева-Кумача... Мы многого не знали! Не знали, не ведали, что в стране, «где так вольно дышит человек», тюрьмы уже под завязку набиты сотнями тысяч таких же, как и мы, ликующих жертв.

Последнее прощание с братом каленым железом вечно жжет мою

совесть!

Дома, когда мы вернулись со свидания, мать показала несколько исписанных листков папиросной бумаги, переданных ей Борисом тайно от надзирателя при прощании. Она нашла их на дне корзины, в которой носила ему передачу.

— Вот, сынок, прочти!.. Боря передал.

Очень мелким, убористым, но хорошо разборчивым почерком, экономно используя каждый сантиметр дефицитной бумаги, Борис хладнокровно анализировал ситуацию, в которой оказались он и другие заключенные.

Он почти не писал о себе, не жаловался. Со свойственным ему аналитическим складом ума он, как хирург, вскрывал весь ужас увиденного и пережитого в застенках внутренней тюрьмы НКВД... Рисовал картину полной незащитности арестованных перед произволом слепой силы, когда тщетны любые доводы разума и логики, когда из подследственных издевательством и пытками выбивают угодные следствию «признания» и «показания», достаточные для последующего осуждения.

Писал он и о самих методах, применяемых на Шпалерке, сравнимых разве что с методами гестапо, о которых охотно сообщали наши центральные газеты как о примерах чудовищного вандализма и надругательства над человеческой личностью.

Борис, рискуя жизнью, задался целью передать на свободу предостережение всем, кто еще обольщался благородной деятельностью органов НКВД по «выкорчевыванию врагов народа». Всем, кто мог оказаться в его положении (а мог оказаться каждый!), он пытался раскрыть глаза на истинное положение дел в этом ведомстве.

Но все это я понял гораздо позже... Тогда же прочитанное показалось мне невероятным и страшным. Показалось настолько неправдоподобным и кошмарным, что я усомнился в психическом здоровье брата: только воспаленный ум мог родить такие мрачные фантазии. Бедный Борис!.. Наверное, нервное перенапряжение, вызванное атмосферой тюрьмы, так печально повлияло на него...

Потрясенный, я тут же, под неодобрительным взглядом матери, в страхе сжег его записки в печке.

— Напрасно, сынок, напрасно... Прочитал бы как следует, повнимательнее. Кто знает, может, и пригодится в жизни.

Слова матери оказались пророческими. Очень скоро я убедился в этом.

Сразу после осуждения брата со всех нас, живших в одной квартире с ним, сначала была взята подписка о невыезде из Ленинграда, а вскоре,

летом 1937 года, последовала и высылка в Казахстан. В ответ на мой отказ уехать мне было заявлено: «Не поедешь — посадим!»

Ровно через год свое обещание НКВД сдержал.

В 1943 году в Воркуте, не выдержав непосильной работы в угольной шахте, Борис умер от дистрофии.

После реабилитации, приехав в Воркуту, я пытался установить место захоронения брата. Получил справку: «Умер в мае 1943 года. Место захоронения не сохранилось в связи с бурной застройкой города».

В возрасте тридцати лет ушел из жизни еще один честный, талантливый человек, который мог стать гордостью России, вторым Королевым, не случись беды.

С начала тридцатых годов Борис был одержим идеей создания реактивных двигателей. Учась в университете, он сутками просиживал над расчетами и чертежами... Единственной его страстью была математика! И, конечно, не случись преступного ареста, он нашел бы, в конце концов, дорогу к своим единомышленникам, к группе Цандера — пионерам ракетной техники.

Бездарные правители, подмятые полусумасшедшим Сталиным, погубили еще один светлый ум, загубили еще одну бесценную человеческую жизнь!

Мой брат был скромным, чистым, честным человеком, и никакой суд не смог бы убедить меня в его виновности. Первые двадцать два года моей жизни прожиты вместе с ним — кому как не мне знать его!

Только 1 февраля 1989 года постановлением президиума Верховного суда РСФСР приговор Спецколлегии Ленинградского областного суда от 27 марта 1937 года по делу моего брата был отменен и «дело производством прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления».

Недавно, перебирая старые бумаги, я наткнулся на черновик «протеста-жалобы», написанного мною в свое время и отвергнутого начальством по причине «непочтительности тона», допущенной в адрес органов НКВД.

Мне неожиданно пришла идея: а не поместить ли этот «протест-жалобу» вместо предисловия, удовлетворив тем резонное любопытство всех, кто интересуется детективной стороной семнадцатилетнего периода моей жизни на Севере?.. К тому же такой вариант придаст и некоторую документальность предисловию, что всегда нелишне, когда пишешь о себе. Я решил опубликовать.

Невольно вспомнилась и вся история написания этой жалобы...

Норильск... Осень пятьдесят третьего. Уже позади смерть Сталина, низложение Берии и иже с ним... Уже сменилось правительство. И только в судьбе ссыльных по-прежнему никаких перемен, никаких надежд... И вдруг вызов в УВД Норильска.

— Жженов! Пиши жалобу о снятии с тебя ссылки. — Это говорит полковник МВД, начальник отдела по делам ссыльных.

После долгой паузы отвечаю:

— Никаких жалоб писать не буду. Я прошу не пощады, а восстановления справедливости... Протестов и заявлений за пятнадцать лет написал сотню — и всё без толку!

— Пиши в сто первый раз!

— Не буду. Надоело. Не верю вам... Никому не верю.

— Как знаешь!.. Нравится быть ссыльным — пожалуйста! Уговаривать не буду, живи как знаешь.

Полковник был далеко не из худших. Поговаривали, что он работал в центральном аппарате НКВД. После конфликта с Берией угодил в Норильск. Норильск для него — своеобразная ссылка, опала, и здесь он нередко действовал по-человечески.

Однажды дирекция театра сдуру поувольняла всех ссыльных артистов как политически неблагонадежных... Полковник вступился на нас, своих «подопечных», и заставил восстановить всех.

Другой случай.

Режим содержания ссыльных в Норильске обязывал нас являться на свидание к «куму» два раза в месяц.

В эти дни на глазах у всего города, независимо от погоды мы часами простаивали в очередях, напоминавших недавние позорные очереди за водкой, чтобы, сунув в открытое оконце конторы свой «конский паспорт», получить его обратно с отметкой «явлен», удостоверенной собственноручной подписью «кума». Надо ли говорить, как норильская ссылка ненавидела эти числа месяца!..

Нежданно-негаданно мне крупно повезло благодаря полковнику. Он истинно по-королевски отблагодарил меня за фотографии его детей, снятых мною.

Когда я категорически отказался от предложенных за работу денег, полковник взял мое удостоверение ссыльного и в фразе «Обязан каждое первое и пятнадцатое число месяца являться на отметку» вычеркнул пятнадцатое число!.. О большем подарке я не мог и мечтать! На радостях пошутил тогда: «Может быть, вы заодно и первое число вычеркнете?..» — «Сие не в моей власти!»

Заявление я, в конце концов, написал. Писал долго, обстоятельно. Мучительно вспоминал малейшие подробности, как предшествовавшие аресту, так и происходившие потом. Называл все своими настоящими именами. Не забывал и о том, что многим рискую, не стесняясь в выражениях.

Полковник прочитал написанное и сказал:

— Слушай меня внимательно. Твою дальнейшую судьбу буду решать не я, наблюдавший тебя эти годы и как артиста, и всяко, — будут решать другие люди. Поэтому пойми следующее: «заявление-протест» для них единственный источник сведений о тебе. По нему будут судить о тебе настоящем, каков ты есть сейчас, после пятнадцати лет репрессий. И примут то или иное решение. Резким тоном своего заявления ты вредишь себе и никому больше... Нельзя все валить в одну кучу!.. Обвинять в преступлениях всех, кто служил и служит в органах. В органах такие же люди, как и везде. И хорошие, и плохие — всякие. Далеко не все приветствовали методы Берии и его компании... Многие поплатились за это. Ты ничего об этом не знаешь!.. Нельзя огульно судить всех — это несправедливо. Своим «протестом» ты оскорбил и меня! А я служу в органах не один и не два десятка лет... Нельзя так! Иди и перепиши все, начиная с заглавия... Протестующее начало в твоём «сочинении» неприятно превалирует над всем остальным... А для комиссии желаннее ты — понимающий, чем ты — протестующий! Понял меня?

Только с третьего захода полковник принял наконец «жалобу-заявление», пожелав мне «ни пуха ни пера».

Через полгода меня освободили из ссылки. Я покинул Норильск и вернулся в Ленинград.

А 2 декабря 1955 года определением военного трибунала Ленинградского военного округа я был дважды реабилитирован и в возрасте тридцати восьми лет начал свою профессиональную жизнь актера сизнова, как говорится — с нуля!

**Начальнику Управления МВД
гор. Норильска тов. Дергунову.
Ссылный-поселенец Жженов Г. С.
Норильск. Драм. театр.**

ЖАЛОБА-ЗАЯВЛЕНИЕ

Убедительно прошу вас содействовать мне в хлопотах о снятии с меня ссылки.

В ссылке нахожусь пятый год. Четыре года работаю в Норильском драматическом театре, артист.

Добросовестность моей работы может быть подтверждена производственной характеристикой, моей трудовой книжкой и отзывами зрителей.

Женат. Дочь, 1946 года рождения, находится в Ленинграде, у моей матери.

Матери 74 года. Жизнь ее держится лишь на надежде увидеть наконец своего сына свободным. Тем более что я единственный из трех сыновей, оставшийся в живых после войны. Старшего моего брата — Сергея — в Мариуполе, на глазах у матери, расстреляли немцы в 1943 году. Средний брат — Борис — умер в исправительно-трудовых лагерях Воркуты в 1943 году (тиф, дистрофия).

Отец умер в 1940 году в Ленинграде.

Продлить и поддержать жизнь матери я смогу, только освободившись из ссылки.

Мои родители, бывшие крестьяне бывшей Тверской губернии, еще до революции переехали на жительство в Петроград. Там я и родился в 1915 году.

За пятнадцать с лишним лет из своих тридцати восьми, что я мыкаюсь по тюрьмам, лагерям и ссылкам, — всей своей жизнью и работой безуспешно пытаюсь доказать, что я честный человек, гражданин своей страны, ничего общего не имеющий с тем политическим преступником-«шпионом», которым меня сделали в НКВД в 1938 году.

Шестнадцатый год я бью лбом стены, пытаюсь восстановить справедливость, добиться пересмотра моего «дела».

Мое жизненное несчастье — арест в 1938 году — это акт подлости негодяев и карьеристов, прорвавшихся к власти в органы НКВД.

Факт, послуживший поводом для обвинения и дальнейших репрессий, ни по каким законам цивилизованного общества не мог являться преступлением.

Сообщаю биографические сведения о себе и о существе дела.

Родился в 1915 году в Петрограде. Окончил семь классов трудовой школы.

В 1930–1932 гг. учился в Ленинградском эстрадно-цирковом техникуме. Одновременно работал в цирке акробатом.

С 1932 по 1935 год учился в Ленинградском театральном училище, совмещая учебу со съемками на к/студии «Ленфильм». Сыграл ряд ролей в кинокартинах: «Ошибка героя», «Чапаев», «Наследный принц республики»,

«Золотые огни», «Комсомольск». В 1935 году, окончив училище, продолжал сниматься в фильмах.

В декабре 1936 года мой брат Борис Степанович Жженев, студент Ленинградского университета, был арестован органами НКВД ЛО и весной 1937 года был осужден Ленинградским областным судом по статье 58.10 сроком на семь лет за «антисоветскую деятельность и террористические настроения».

Отца, мать и трех моих сестер, живших в одной квартире с братом, выслали в Казахстан.

Ордер на высылку был предъявлен и мне.

В 15-м Василеостровском районном отделении милиции Ленинграда я заявил, что считаю незаконным решение о моей высылке и что в высылку не поеду. Мне ответили: «Не поедешь — посадим» — и взяли подписку о невыезде из Ленинграда. Так как в это время я снимался в фильме «Комсомольск», где играл одну из ролей, и обязан был ехать на съемки в город Комсомольск-на-Амуре, дирекция к/студии «Ленфильм» обратилась в Управление НКВД ЛО с просьбой разрешить мне отъезд на съемки. Разрешение было получено.

16 июля вся наша киногруппа, во главе с режиссером Герасимовым С. Л., выехала из Москвы на Восток.

За шесть суток пути скорого поезда «Москва — Владивосток» все пассажиры, естественно, перезнакомились друг с другом.

Артисты — народ веселый, всегда вызывающий к себе повышенный интерес и внимание окружающих. Тем более среди нас были уже знаменитые, популярные артисты: Николай Крючков, Петр Алейников, Иван Кузнецов и другие... Все мы были молоды, беззаботны — шутили без конца, смеялись, играли в карты, пели песни, дурачились — одним словом, всю дорогу до Хабаровска веселили не только себя, но и всех, кто охотно посещал нашу компанию.

Среди поездных знакомых, ехавших с нами в одном вагоне, был американец Файмонвилл^[1].

Он ехал во Владивосток встречать какую-то делегацию своих соотечественников.

Файмонвилл, как и остальные пассажиры вагона, не только терпел шум, производимый нашей компанией, но и сам охотно принимал участие во всех наших дурачествах и играх. К тому же Файмонвилл прекрасно говорил по-русски.

Нам безразлично было — американец он, негр или папуас! Иностранцев мы рассматривали исключительно с точки зрения наличия

хороших сигарет.

В Хабаровске мы распрощались с нашими попутчиками, поскольку дальнейший наш путь лежал по Амуру, пароходом.

Вторая «преступная» встреча с Файмонвиллом состоялась через полтора месяца в Москве, на вокзале, в день возвращения нашей киногруппы из экспедиции. Файмонвилл с этим поездом встречал кого-то и, увидев нас, поздоровался, и мы в ответ шумно, со смехом приветствовали его как старого знакомого.

И последний раз я видел Файмонвилла через несколько дней в Большом театре, на спектакле «Лебединое озеро». Со мной были мои друзья — Вера Климова и ее муж Заур-Дагир, артисты Московского театра оперетты. В антрактах мы разговаривали с ним о балете, об искусстве вообще, курили сигареты (его сигареты).

Прощаясь в этот вечер с Файмонвиллом, я пожелал ему здоровья, поблагодарил за внимание, сказал, что уезжаю домой, в Ленинград, короче говоря, как можно вежливее дал понять, что эта встреча с ним последняя. На мои дипломатические зигзаги он ответил: «Пожалуйста. Вы не первый русский, который прекращает знакомство без объяснений. Поступайте как вам угодно, — хотя я и не понимаю этого».

Что я ему мог ответить? Что иностранцев мы боимся как черт ладана? Что в стране свирепствует шпиономания? Что люди всячески избегают любых контактов с ними, даже в общественных местах, на людях, в театрах?.. Я предпочел промолчать.

Вот и все мое знакомство с этим человеком. Никогда больше я его не видел и ничего о нем не слышал.

Прекратил знакомство не потому, что убедился в преступных намерениях этого человека, — Файмонвилл не давал ни малейшего повода заподозрить его в злом умысле, он всегда был вежлив, тактичен и никогда не касался в разговоре никаких тем, кроме общих разговоров об искусстве, кино и театре.

Я же не допускал и мысли, что могу в чем-то преступить норму поведения советского артиста и гражданина, — поэтому это случайное, всегда проходившее на людях, краткое знакомство не могло родить во мне ни малейших подозрений и страхов. Я был типичный молодой артист, окрыленный первыми творческими успехами в кино и рвавшийся в дальнейшую работу. Жизнь для меня была самой прекрасной и светлой!

Я был молод, наивен, упоен жизнью и уверен в своей лояльности гражданина СССР.

В октябре 1937-го я вернулся в Ленинград. В особом отделе 15-го

отделения милиции мне сообщили о прекращении моего дела, разорвали при мне подписку о невыезде, пожали руку и сказали: «Живи и работай!»

И я жил и работал вплоть до 4 июля 1938 года.

Ночью 5 июля я был арестован. Мне было предъявлено обвинение в преступной, шпионской связи с американцем.

Действительно имевший место факт моего безобидного знакомства с иностранцем следствием был оформлен как преступный акт против Родины.

Бандиты, выродки рода человеческого в офицерских мундирах НКВД всячески принуждали меня подписать сочиненный ими сценарий моей «преступной» деятельности.

Меня вынуждали признаться, что Файмонвилл завербовал меня как человека, мстящего за судьбу брата...

Что я передал ему сведения о морально-политических настроениях работников советской кинематографии... (?!)

Сведения об оборонной промышленности г. Ленинграда и о количестве вырабатываемой ею продукции... (?!)

Сведения о строительстве г. Комсомольска-на-Амуре... (?!)

Даже комментировать эту очевидную чушь не хочется, напротив.

Кому и зачем понадобилось из меня — человека, только вступающего в жизнь, полного сил, энергии, желания работать, приносить обществу пользу, — делать преступника?

Рассказываю вкратце, как проходило следствие.

На одном из первых допросов, когда я несколько суток стоял на «конвейере»^[2], начальник Отделения КРО спросил меня, почему я упрямлюсь и не подписываю показаний?

Я ответил: «Написанные мною и подписанные мною показания вас не устраивают — вы их порвали. Показаний же, сочиненных следствием, я не подпишу. Это ложь! Совесть и достоинство не позволяют подписывать ложь». На это он заявил мне: «Слушай меня внимательно. Это я говорю тебе — старший лейтенант Моргуль!.. Ты подпишешь показания не такие, какие есть у тебя, а такие, какие нам нужно. Запомни это. Ты один — нас много!.. Будешь сопротивляться день, два, неделю, месяц — не поможет! Устанет с тобой один следователь, его сменит другой, третий и т. д. Нас много — ты один! Запомни это... Все равно подпишешь, никуда не денешься... И не таких ломали. Уж как-нибудь ты у меня пять лет на Камчатке отработаешь!» — после чего дал мне пинок под зад и выгнал в камеру.

На следующем допросе я спросил: зачем все это? Следователь

П. П. Кириленко ответил: «Так надо». Он, вероятно, был человечнее своего начальника, потому что добавил: «Семье контрреволюционера нет места в городе Ленинграде. Надо было не быть дураком и уезжать вместе с родными в высылку, в Казахстан, а не сопротивляться».

Все дальнейшие допросы не отличались оригинальностью. Меня продолжали мучить на длительных допросах без пищи, воды и сна... Я стоял... На мне демонстрировали всякие моральные и физические методы воздействия и запугивания, ничего общего не имеющие с моим юношеским представлением о ведении следствия в советских тюрьмах.

В конце концов сломили, конечно, мою волю, и, отчаявшись во всем, на одном из тяжелых допросов я подписал ложный, сочиненный следствием сценарий моих «преступлений».

Что это, малодушие с моей стороны? Трусость?.. Нет! Это был момент потрясения, глубочайшего отчаяния — мне было все равно, лишь бы оставили в покое.

Очень страшно, когда с понятиями Справедливость и Человечность впервые вдруг сорвали все красивые одежды... Мне было только 22 года. Я боялся не физических увечий, нет, — может быть, я и вытерпел бы их, — я боялся сумасшествия. Любое сопротивление бессмысленно перед жестокостью! Знать бы, во имя чего ты принимаешь муки, — было бы легче!

Нелегко перечислять прелести ежовских допросов, добавлю только, что при следующем вызове к следователю я потребовал зафиксировать мой категорический отказ от подписи под протоколом, полученной насильственными методами принуждения. Мне отказали. В камере я потребовал бумагу для заявления. Мне отказали. Бумагу требовали многие. Мы объявили голодовку — бесполезно. Никто ее даже не зафиксировал. Нам рассмеялись в лицо и пригрозили в случае упорства тюремным карцером.

Лишь в тюрьме «Кресты», куда я был переведен на «консервацию», с трудом удалось получить бумагу для заявлений.

В какие только адреса я не жаловался! Писал на имя начальника тюрьмы, прокурору по надзору, Верховному прокурору, Калинин, Сталину — бесполезно!.. Все мои протесты и жалобы попадали куда угодно, только не в дело. Свидетельством тому следующий случай: осенью тридцать восьмого, когда наконец посадили Ежова, новое руководство НКВД, утверждая себя, сделало попытку или видимость пересмотра некоторых следственных дел.

Меня вызвал новый следователь и... потребовал подтвердить ложный

протокол (!!!). Я отказался, в свою очередь потребовав оформить мой отказ протоколом.

В этот момент в кабинет вошли несколько человек комиссии во главе с человеком, к которому остальные относились с особым почтением. Пользуясь случаем, я обратился к этому лицу и повторил свой протест. Я заявил, что неоднократно писал жалобы в разные инстанции.

Этот человек спросил следователя, есть ли в моем деле эти заявления. Явно смутившись, следователь ответил, что вообще они, дескать, есть... но... в деле их... сейчас нет, — они там... в Управлении.

На это человек, возглавлявший комиссию, ответил: «Чтобы заявления подследственного были не там, а здесь!» — и показал пальцем на мое дело.

Когда комиссия ушла, следователь, замахнувшись на меня чернильницей, заорал, что я его компрометирую, что буду еще в этом раскаиваться, когда снова окажусь во внутренней тюрьме НКВД, и прекратил допрос.

В декабре 1938 года меня действительно перевели на Шпалерку и потребовали расписаться в окончании моего дела.

Я заявил, что до тех пор, пока к делу не будут приобщены мои заявления об отказе от подписи под ложными протоколами, добытыми преступными, насильственными методами, я не возьму в руки ручку.

Мне насильно всовывали ручку в руки, я выбрасывал ее... мне всовывали снова, я снова выбрасывал... Под дикий мат и крики полутора десятков человек меня пытались принудить подписать окончание следствия... Я стоял на своем. Наконец кто-то из них крикнул: «Да черт с ним! Зря время теряем. Дайте ему бумагу — пусть пишет».

Мне кинули лист бумаги, и под хохот и матерщину этих «черных мальчиков», по команде старшего оказывавших на меня психическое воздействие, я кое-как, зажав уши, чтобы сосредоточиться, написал отказ.

Думаю, что усилия мои были напрасны. Тогда следствие произвольно перенумеровывало страницы дела, выдирая из него любое, что было неудобно, и внося то, с чем не хотели знакомить подследственного. Я был неопытен, подавлен морально — обмануть меня было нетрудно.

И все же у моих мучителей что-то не получалось. Прокуратура дважды возвращала мое дело на следствие и переследствие, вместо которого меня принуждали подтвердить ложные протоколы и подписать окончание дела.

Весной тридцать девятого начальник тюрьмы «Кресты» и тюремный врач, искавший на моем теле следы побоев, хором пророчили

мне свободу. Тот факт, что я долго мотаюсь между двумя тюрьмами, говорили они, — хороший признак! Значит, трибунал мое дело бракует, не принимает к слушанию.

«Хороший признак» завершился постановлением внеконституционного судилища, именуемого Особым совещанием НКВД СССР, заочно отправившего меня на пять лет в исправительно-трудовые лагеря.

Старший лейтенант Моргуль, предсказавший мне пять лет Камчатки, ошибся только в географических подробностях — меня этапировали на Колыму.

Ирония судьбы! В это же время мои родители и родные были возвращены из высылки. Ее признали незаконной.

Дальше следует:

Колыма... Золотые прииски... Война. Конец заключения в 1943 году. И новая официальная бумага с гербами — и еще двадцать один месяц лагеря...

26 марта 1945 года решением начальника УСВИТЛа Драбкина и прокурора войск МВД за хорошую, добросовестную работу я был условно-досрочно освобожден из лагеря.

До декабря 1946 года работал в Магаданском заполярном драматическом театре.

Весной 1947-го вернулся на «материк». Приехал в Москву за назначением на работу.

Статья 39 положения о паспортах, стоявшая в моем паспорте, запрещала право жительства в сколь-нибудь крупных промышленных городах, где есть киностудии.

По ходатайству моего учителя Герасимова Сергея Аполлинариевича меня направили работать в Свердловск, на к/студию художественных фильмов.

По личному разрешению секретаря Свердловского обкома партии я получил временную прописку в г. Свердловске. На киностудии начал сниматься в фильме «Алитет уходит в горы».

В 1948 году к/студию художественных фильмов в г. Свердловске ликвидировали, производство фильма передали в Москву, где мне запрещалось жить с 39-й ст. в паспорте.

На актерской бирже в Москве я нанялся работать в г. Павлов-на-Оке в местный драмтеатр.

2 июня 1949 года в Павлове-на-Оке я был снова арестован. Шесть месяцев в г. Горьком ел тюремную кашу, надоевшую мне и раньше на всю

жизнь, и снова, волею бессмертного Особого совещания, отправился через всю Россию в ссылку — медленно и за счет государства.

Сейчас работаю в Норильском драматическом театре. Опять, как и в Магадане, играю роли советских героев — людей честных, принципиальных, смелых!

Мой суд — зритель! Его одобрение и аплодисменты — плата за труд, за те положительные идеи, которые я, человек и артист, стараюсь донести до зрителя.

Советский театр — просветительное, культурное учреждение, призванное нести идеи государства, идеи гуманности, идеи коммунизма. Я один из творческих работников этого учреждения в Норильске.

«Человек познается в труде!» — сказал Горький. Так почему же в самом главном — творческом труде — мне — ссылкеному — верят, а в гражданских вопросах нет?

При любом самом малом конфликте, разности точек зрения, споре — сразу ставится под сомнение моя политическая благонадежность. Все время я ощущаю в некоторых людях желание дискредитировать меня морально и профессионально. Сыграть на положении ссылкеного легко. Недоверие — обидное и незаслуженное — сквозит во всем: в отношении руководства, в отношении части товарищей по работе, в обидном замалчивании результатов моего труда и т. д. Включая существующий факт гласного надзора МВД.

Шестнадцатый год я заявляю, что я не преступник! Не бывший преступник, а был, есть и останусь честным человеком, гражданином своей страны.

Поймите, что нет ни моральных, ни физических сил терпеть дальше эту бессмысленную ссылку.

Прошу понять меня и помочь в моей просьбе. Снимите с меня ссылку.

15 декабря 1953 года Норильск

Жженов Г. С.

Детство

Родился я в Петрограде, на Большом проспекте Васильевского острова, в красном каменном здании родильного дома между 15-й и 16-й линиями, 22 марта 1915 года.

Себя в этом «прекрасном и яростном мире» начал помнить лет с четырех, по возвращении из деревни, куда, по рассказам матери, нас с братом Борисом увезли из холодного и голодного Петербурга в связи с революцией.

Мои родители — Мария Федоровна Щелкина и Жженов Степан Филиппович — были родом из села Кесова Гора и деревни Демидово бывшей Тверской губернии. Кто из села, кто из деревни — не помню... Там крестьянствовали наши деды, бабки и прочие «сродственники». Вот туда-то, на картошку, которой было еще достаточно в деревне, и отправляли нас — молодёжь — по мере того как мы, появившись на свет Божий, выросли и уступали место у материнской груди следующему младенцу. А появлялись мы на свет с поразительной регулярностью, один за другим ровно через два года. Сергей — 1911 год, Борис — 1913 год, Егор (это я) — 1915 год, Надежда — 1917 год, Вера — 1919 год... Дальше производство Жженовых прекратилось то ли в связи с трудностями, рожденными двумя революциями, то ли в силу неведомых мне тогда биологических закономерностей. Да и сколько можно?! Кроме родных сестер и братьев у меня уже имелись и сводные по отцу сестрички: Анастасия, Прасковья, Мария, Клавдия и Софья... Софья ушла из жизни рано. Ее место в этом мире занял я, и надолго.

Первые самостоятельные впечатления, сохранившиеся в моей памяти, относятся ко времени возвращения из деревни в Петроград. Деревню не помню совершенно. Бабушка рассказывала, что часто «пек колобки», то есть забирался на теплую печку и подсушивал там штанишки, поскольку основной нашей пищей была картошка и бегали мы всегда со вздутыми, ослабевшими животами. В памяти, как в копилке, сохранились обрывки разных эпизодов того времени, часто не связанные между собой ни по времени, ни по смыслу.

...Серые булыжные мостовые улиц милого моему сердцу Васильевского острова... Арочные подворотни домов с огромными каменными тумбами по бокам — место ежевечерних сборищ молодежи. В нэповские годы здесь пели под гитару хулиганские есенинские песни,

задирали прохожих, пили для куражу, дрались, лущили семечки, соревновались в ухарстве и доблести и мечтали о романтике моряцкой совторгфлотской жизни...

Здесь, на Васильевском, прошли мое детство, моя юность. Здесь пролетели первые двадцать два года моей жизни...

В памяти остались даже запахи. Запахи огромного приморского города!.. Запахи набережных, кораблей, бульваров, осенних парков, рынков и весеннего талого снега... И совсем новый для меня, мальчишки, запах таинственного города... Скученного человеческого жилья. Запах сырых петроградских домов, запах кошек на затхлых черных лестницах — парадные двери в квартиры после революции, как правило, были еще заколочены... Запах подвальной плесени и сырых дров... Ну и, конечно же, сказочный запах чердаков, куда осторожные люди на случай внезапного обыска сносили после революции все, что могло как-то компрометировать их перед новой властью.

Чего только мы не обнаруживали там! Винтовки, шашки, гранаты, револьверы, ящики с патронами, пулеметные ленты, разрывные пули, штыки, гильзы... Подобно археологам, мы откапывали из-под балок чердачных перекрытий всевозможные царские ордена, медали, жетоны, связки фотографий и документов, орденские ленты, «керенки», цилиндры, корсеты, канотье и кивера, генеральские и офицерские мундиры, эполеты, погоны, аксельбанты и прочее, и прочее.

Весь этот «реквизит» старого мира появлялся потом в наших квартирах, наводя ужас на наших родителей, стреляя, «пшикая» и взрываясь в кухонных плитах, а частенько и вовсе разнося их вдребезги. Вслед за пальбой в квартире возникали, как в сказке, милиционеры и суровые дяди в кожанках. Нас, пацанов, сгоняли в одну комнату и поодиночке выдергивали на допрос с пристрастием... После капитуляции («Дяденька, прости, я больше никогда не буду»), конвоируемые милицией, мы вели суровых дядей на чердаки в наши боевые арсеналы и разоружались, выкладывая «противнику» все до последнего патрона... Но огорчались мы ненадолго — находили другие клады, и начиналось все сначала... Опасные игры закончились лишь тогда, когда петроградские чердаки и подвалы были очищены от «наследия прошлого» окончательно.

Моя сестра Ната, которой в ту пору было уже лет двадцать, только что стала учительницей. Ее характер, по-моему, вполне соответствовал этому призванию. Она была строга, энергична, требовательна. Любила порядок и ясность. Обожала подчинять и воспитывать. Поэтому на правах старшей из сестер и взялась за нас, мальчишек. С первых же дней по возвращении из

деревни нам, Сергею, Борису и мне, предлагалось жить по ее сценарию.

Уходить из дома без разрешения — нельзя! Опаздывать к обеду — нельзя! Заводить случайные уличные знакомства, а также кататься на трамвайной «колбасе» — строго запрещено. Лазать через заборы — тем более! Словом, предлагалось вести себя прилично, как подобает воспитанным петроградским мальчикам. С этой целью моя благонамеренная сестра вывела меня однажды во двор нашего дома и представила двум соседским детям — Русику и Ириночке, чистеньким, ухоженным, воспитанным пай-детям, сыну и дочери жившего в доме музыканта — скрипача Грибе-на.

Меня заставили взять моих новых знакомых за руки, и таким образом наша дружба была скреплена навеки. Так, по крайней мере, думала моя умная, но наивная сестра. Откуда ей было знать, что этим церемониалом знакомства и закончилась навсегда дружба с Русиком и Ириночкой. Как говорится, сердцу не прикажешь! Через пять минут после ухода сестры я уже бегал по улице с сыном нашего дворника Хайруллой, с которым мы и не расставались все двадцать два года моей жизни в этом доме...

Васильевский остров был изрядно заселен немцами еще с петровских времен.

Жили мы на углу Первой линии и Большого проспекта, в доме, где помещалась немецкая кирха. В нишах на фасадной стене кирхи стояли во весь рост две гипсовые фигуры святых: святой Петр и святой Павел. В руках одного был ключ, в руках другого — книга.

Святому Петру не везло: мы без конца висли на нем и обламывали ключ. С немецкой пунктуальностью ключ восстанавливали, но мы снова его обламывали с не меньшей пунктуальностью... В конце концов в этом соревновании религии с молодостью победили мы.

Будучи недавно в Ленинграде на улице моего детства, я был приятно удивлен, увидев в руке у апостола вместо ключа все тот же жалкий конец железной арматуры.

Мои родители никогда не жили в согласии, по крайней мере на моей памяти. Причин этому было достаточно. К моменту женитьбы на моей матери отец был уже вдовцом. От первого брака у него осталось пять ребятишек — «мал мала меньше», как говорила моя мать.

Мальчишкой приехав в Петербург, отец поступил в услужение к своему земляку — булочнику, владельцу пекарни. Он бегал с утра до вечера по Васильевскому острову с огромной корзиной, разнося булки по адресам постоянных клиентов, и успевал вечером помогать хозяину в пекарне, мечтая когда-нибудь открыть собственное дело и стать хозяином, выбиться

в люди. В «люди» он в конце концов выбился. Залез в неоплатные долги, но выбился — стал хозяином. Вскоре женился, жену взял из деревни. Пошли дети. Регулярно через год — и все девочки. Жизнь осложнялась. Заботы прибавлялись с каждым днем, с каждым следующим ребенком... Стал попивать. Сначала изредка — счет деньгам знал, особенно когда был трезв, помнил, что в долгах; после смерти жены стал пить регулярно, запоем — правда, запои были еще редки — держался, старался держаться.

Таким его впервые и увидела моя мать, когда отец привез в деревню после похорон жены весь свой выводок неухоженных, золотушных сирот, за которыми в городе теперь уже некому было ухаживать, некому приглядеть. Конечно, только щемящее чувство сострадания и жалости могло толкнуть крестьянскую девчонку на брак с вдовцом, да еще с «приплодом» пятерых сопливых ребятишек. Легко ли решиться на такое в семнадцать лет! В семнадцать лет, когда человек сам еще, по существу, ребенок и жизнь ему представляется не иначе, как в розовом свете.

Говорят: добрые люди мягкосердечны, слабохарактерны... Моя мать не была такой. Наоборот, она скорее производила впечатление строгой, властной. Сентиментальность была ей несвойственна от природы...

Родившись в деревне, мать с малолетства узнала и полюбила труд. У нее были хорошая голова, трезвый крестьянский ум. Недостаток образования (два класса сельской школы) с лихвой восполнялся природной одаренностью — мать была талантливым человеком! Умела разбираться в людях. Редко в них ошибалась. Трудолюбие в человеке уважала, ценила превыше всего остального. Весь мир делила на «путевых» и «непутевых». Непутевыми называла бездельников и пьяниц. К ним была подчас даже жестока.

Путевые люди — это прежде всего работающие люди, труженики. Мать любила это слово и часто повторяла его. Для них не скупилась ничем — отдавала, как говорится, последнее... Не ждала, когда к ней обратятся за помощью, — всегда первой предлагала себя, все свои возможности и силы. Все семьдесят восемь лет своей жизни мать не жила для себя, а всегда жила для людей, считая это чуть ли не единственным смыслом своей жизни.

Все, кто знал тебя или слышал о тебе, вечно помнят и благословляют твое мудрое, доброе сердце — не добренькое, а именно доброе сердце, всегда отзывчиво распахнутое навстречу каждому «путевому»... Твое щедрое сердце, в конце концов растерзанное людской глупостью и жестокостью.

Вечная тебе память, моя прекрасная Мама!

Нелады между моими будущими родителями начались вскоре после свадьбы, когда отец со своим выводком и новой молодой женой возвратился из деревни в город. Он решил, что свои семейные дела он уладил полностью, приобретя в лице молодой одновременно и жену, и мать, а вернее, мачеху для своих пятерых сирот. Все это живое, голенастое «хозяйство» отец с облегчением и удовольствием взвалил на плечи суженой и умыл руки — занялся своими пекарскими делами.

Жил он тогда на Васильевском острове, в гавани, в доме, где помещалась и его пекарня, то ли над ней, то ли под ней... Жили без столичных излишеств, по-деревенски: стол, лавки, несколько табуреток, нехитрый посудный ларь с глиняным и стеклянным скарбом да образа в переднем углу — вот и вся мебель. И, как водится, полати от стены до стены, вместо кроватей. На них, как на деревенской печи, как в норе или в гнезде, спали, ели, играли, ссорились и мирились, подрастали помаленьку все мы — многочисленное семейство Жженовых.

Отец был прижимист, берег каждую копейку — копил. На нужды семьи не обращал никакого внимания: живы — и ладно!

Обедали по старинке: ели из одной общей чашки деревянными ложками, по кругу, начиная с отца и дальше по часовой стрелке. Надо сказать, что такой порядок в нашей семье просуществовал довольно долго — уже на моем веку традиция эта еще сохранялась. Хорошо помню, как во время одной такой семейной трапезы я сунулся в общую чашку вне очереди. Отец замахнулся на меня, я увернулся от удара, а мой брат Борис, сидевший рядом, получил вместо меня ложкой в лоб и оказался на полу под образами. Отец держал всех в черном теле. Над первой своей женой имел власть неограниченную. Ни перед кем в своих действиях не отчитывался. Был беспрекословен. Между запоями бывал хмур и молчалив. И наоборот: в запое громок, болтлив, буен и задирист — его боялись. Боялись все, кроме моей матери. Поначалу мать молча присматривалась к своей новой жизни. Терпеливо наблюдала, соображала, с чего ей лучше начать, как поумнее разобраться в этом дремучем житье-бытье... Постепенно в доме стали чувствоваться ее характер, ее воля. Начались преобразования. Вместо нар появились кровати. Правда, еще не по числу душ, но все же... Старшие наконец-то обзавелись «плацкартой». Малышня умещалась по двое, по трое на кровати. Пришлось отцу раскошелиться и на одежду: никуда не денешься — у старших девочек подошел школьный возраст. Им покупали новое — младшие донашивали со старших. Так и жили...

Отец все еще мечтал разбогатеть. Мечтал стать купцом, хоть какой-

нибудь гильдии!

Мать растила отцовских девочек и рожала собственных мальчиков. Семейство увеличивалось и увеличивалось... Первые годы, пока доходы еще балансировались с расходами, отец мирился с этим, тянул лямку, терпел... Но вот в доме появилась нужда. А нужда для русского человека первая причина запоя.

Отец пил лихо, без удержу. Пил месяца по три — гулял во всю силу своего здоровья! Никаких друзей, никаких собутыльников — пил один... под огурец. На конторке, рядом с его кроватью, стояла тарелка с соленым огурцом — единственная закуска на все три месяца запоя. Отец не закусывал, а «засасывал» — огурец, как неразменный рубль, месяцами оставался целехонек.

Все благоприобретенное и накопленное между запоями спускалось. Пропивал и движимое, и недвижимое... В доме появлялись экзотические типы с мешками, из тех, что ходили по дворам и кричали: «Ха-ла-ат... хала-ат!», «Ко-остей — тря-а-пок, буты-ы-лок — ба-а-нок!» В мешках предприимчивых потомков Мамаю исчезали со стен нашей квартиры всякие «излишества», все, что могло быть унесено и продано.

Кульминация этого житейского спектакля наступала, когда со стены снимали часы — из дома уносили время!..

Если эта акция проходила в отсутствие матери, то на этом спектакль и заканчивался. После короткого торга и расчета сторон «янычары» удалялись вместе с добычей восвояси, удовлетворенно бормоча восточными голосами какие-то нерусские слова... Но бывало и так, что в самый критический момент в доме вдруг появлялась рассерженная мать. Обстановка менялась мгновенно. Мать хватала первое, что попадало под руку — швабру, метлу или просто обыкновенную палку, и гнала взашей все это басурманское воинство. Больше всех попадало отцу, хотя он в пьяной ярости и кидался на мать с кулаками, защищая свое мужское право распоряжаться имуществом, как ему вздумается.

Мы, мальчишки, конечно, держали сторону матери. Но оказать отцу сколь-нибудь серьезное сопротивление не могли по возрасту.

В конце концов пришло время, когда и отец понял, что мать уже не одна, что мы подросли и встали на ее защиту решительно. Связываться и с нами стало опасно и чревато неприятностями для него самого.

Однажды, предупреждая очередной скандал, я сказал ему: «Не лезь к матери — худо будет». Обозлившись на меня, отец замахнулся, но я успел присесть, и рука его, разбив стекло двери, у которой мы находились, по самое плечо оказалась в другой комнате, изрядно кровотокающая. «Я

предупредил тебя», — сказал я удовлетворенно.

Другой случай, после которого отец навсегда прекратил драки с матерью. Во время очередного запоя, когда он буйствовал и кидался на всех, мать, защищаясь, швырнула в него фаянсовым заварочным чайником и рассекла вену на виске. Отец в ярости кинулся на мать и, наверное, убил бы ее, не окажись мы рядом. Оттащив от матери, мы уложили его на кровать и, так как он продолжал буйствовать, привязали к кровати за руки и за ноги, дав возможность матери безбоязненно промыть рану и остановить кровь. «Выросли, змееныши, матку защищаете...» — говорил его взгляд, когда, затихнув, он ошалело глядел на нас с кровати.

Конец запоя всегда был одинаков. С утра отец не выходил из своей комнаты — его бил озноб, лихорадка, его тряс «колотун». Ни есть, ни пить он не мог, так организм его был отравлен. Жутко и жалко было смотреть на отца в этот момент.

Несколько дней продолжались мучения, пока, наконец, в одно прекрасное утро он не появлялся на пороге комнаты преображенный, как раскаявшийся грешник, с узелком чистого белья под мышкой — он шел в баню. А вечером — чистый, умиротворенный, тощий до прозрачности — сидел под лампочкой за своей конторкой в комнате перед раскрытой на первой странице огромной толстой книгой. Книга называлась «Трезвая жизнь». Дореволюционное, общедоступное, выпускаемое для простого люда издание, распространяемое Обществом трезвенников среди низших слоев населения с воспитательной, благотворительной целью.

Весь промежуток времени между запоями отец читал эту толстую книгу. По количеству непрочитанных страниц мы, как по календарю, всегда знали, далеко ли до следующего запоя. Как только дочитывалась последняя страница, книга захлопывалась, и все начиналось сначала... И так всю жизнь! До самого моего ареста в 1938 году я помню эту книгу в нашем доме.

Что делать?

Мне пятнадцать лет. Уже пятнадцать. Оканчиваю седьмой класс 204-й ленинградской средней школы. Школа наша находилась на Университетской набережной Васильевского острова, в одном из флигелей университета, между основным его зданием и зданием филологического факультета. Чтобы перейти в следующий класс (восьмой), мне необходимо было ликвидировать хвосты по физике и математике. А это непросто, если учесть, что школа наша была с физико-математическим уклоном и уровень требовательности к ученикам соответствовал ее местонахождению. В довершение всего физика и математика являлись теми предметами, которые давно и безнадежно мною были запущены. За прошедший учебный год я нечасто одаривал своим посещением эти уроки и, естественно, отстал. Появилась задолженность, родился хвост. Хвосты имеют тенденцию расти, увеличиваться... Ведь как это обычно происходит: сначала не готовился и пропускал уроки бездумно — ладно, мол, ничего страшного, в следующий раз догоню, выучу. Не догнал, не выучил... Не выучил раз, не выучил два. А дальше стал избегать уроков уже сознательно — стыдно было обнаруживать свою несостоятельность перед товарищами.

К тому же уже тогда я был влюблен в одноклассницу Люсю Лычеву, большеглазую девочку, ради внимания которой совершал массу героических поступков чуть ли не с первых классов школы, а именно: прыгал с парашюта невской набережной в ледяную воду в начале мая, открывая сезон купания в Ленинграде... дрался с «друзьями-соперниками», отстаивая единоличное право сопровождать на каток и с катка голубоглазую ингерманландку... выделял рискованные фортели на уроках физкультуры и на переменах в школьном дворе, стараясь показаться своей королеве эдаким рыцарем — сильным, смелым, ловким, благородным, умным...

Я скорее готов был поставить точку на своем общем образовании и уйти из школы, нежели дать любимой повод разочароваться во мне.

Словом, весной 1930 года настроение мое было унылым и подавленным. И даже буйная радость, всегда возникавшая во мне перед приходом очередной весны, наполняя всего меня телячьим восторгом, не могла отвлечь от впервые заданного самому себе вопроса: как быть дальше?

Раньше подобные моменты растерянности легко разрешали взрослые. Мать в таких случаях говорила: «Успокойся, сынок, все пройдет, все

рассосется!»

И вот наступил день, когда ты впервые понял, что ничего не рассасывается, ничего не проходит само по себе; как утихшая зубная боль не освобождает от неизбежного визита к врачу, так и вставший перед тобой однажды вопрос — что делать? — рано или поздно потребует обязательного ответа. И никуда от этого не денешься! Вопрос не рассосется, не исчезнет... Скорее наоборот — будет зреть, множиться и в конце концов превратится в проблему, требующую немедленного вмешательства. И когда этот момент наступит, тебе станет ясно, что детство кончилось, улетело безвозвратно...

...Игрушкой с перекрученным заводом
Спит наше детство где-то на полу!..

И как всякий конец есть начало чего-то нового, так и в моей жизни весна 1930 года знаменовала для меня приход следующей поры жизни, отрочества.

Бездумный, веселый, беззаботный этап моего жизненного марафона позади!.. Из школы я ушел, а что дальше?..

Впереди маячили горы.

А ведь совсем еще недавно в голубых небесах моего детства не было ни облачка. Учился помаленьку. Школьными науками себя не утруждал особенно. Для ума и сердца существовали куда более интересные занятия — улица!.. Олимпийский стадион моего детства!

Неизведанный, фантастический, влекущий мир! Звонкоголосое царство босоногой ребятни!

...«Казачки-разбойники», «лапта», «чижик», «фантики», «вышибаловка» и многие, многие другие упоительные игры раннего школьного детства...

Улица — особый мир, начинавшийся сразу же за стенами родительского дома. Это набережные Невы, сады, переулки, рынки, вокзалы, пригороды, взморье и прочие места, где мы носились с утра до вечера, появляясь дома с одной-единственной целью — поесть, да и то на минутку.

Двери в квартиру до самой ночи не запирались. Режимы никаких.

Каждый мог есть что хотел, как хотел и когда хотел. Для этой цели между наружными дверями в квартиру всегда ставилась огромная кастрюля щей, свежих или кислых. Чаще кислых (от времени они только хорошели).

Щи варились сразу на неделю.

На уровне пола между дверьми стояла плетеная корзинища с сырыми яйцами, щедро пересыпанная конопляной шелухой для сохранности. Чем меньше в корзине оставалось яиц, тем дольше приходилось искать их и вылавливать, пропуская шелуху сквозь пальцы, как воду.

Матери было недосуг заниматься обедами. Она была добытчицей. Домашними делами занималась разве что в единственный свободный свой день — воскресенье. Все остальные дни недели мать вынуждена была сидеть на Андреевском рынке, у своих горшков и посуды, дожидаясь покупателей. Поражаюсь, как ее хватало на всех нас!

Одних малолетних иждивенцев набиралось за обеденным столом в воскресенье не меньше дюжины, не считая самих родителей и прочей родни, двоюродной и троюродной...

У матери была врожденная слабость опекавать своих земляков. Она половину деревни, наверное, перетащила за свою жизнь в Ленинград. И всех их надо было устроить, приголубить, накормить...

Заботы ее не кончались одним нашим пропитанием... Одежда буквально горела на нас. Особенно не напастись было штанов и обуви.

Любимая игра моей жизни — футбол — чего ей стоила! За месяц-полтора самые прочные башмаки превращались в «воспоминание»... Где только мы не гоняли мячи! На бульжных мостовых улиц (автомобили тогда были редки), в каменных колодцах ленинградских дворов, на бульварах и в скверах, в садах, везде... где только можно и нельзя. В те далекие годы везде еще было можно!..

Мячи были разные: дорогие сине-красные, с полоской и детские резиновые. Иногда найденные в крапиве за забором футбольного поля настоящие мячи, потерянные взрослыми или «зачащенные» у них... Но, как правило, творили мячи сами, из конского волоса и тряпок, завернутых в старые дамские чулки... «Кикали» и просто консервной банкой или деревяшкой, попавшейся под ногу... Такие испытания на прочность под силу разве что водолазным башмакам.

Обычный маршрут от дома до школы чего только стоил матери! Кратчайший путь через заборы и ограды Менделеевского ботанического сада таил в себе не только выгоды, но и опасности: часто кончался «ранениями» в задницу солеными зарядами из берданок университетских сторожей, бдительно охранявших яблони для науки. По клочкам наших штанов на пиках чугунных оград и проволочных заграждениях заборов можно было судить не только о поспешности, но и маршруте нашего бегства.

Осенью 1923-го мы, родившиеся в Первую мировую войну, брали «на абордаж» начальные классы петроградских школ, насмерть перепугав добропорядочных и чинных учителей, доставшихся нам в наследство от царских времен. Хотя «доброе царское время» и ушло в небытие, рухнуло, но школы по инерции еще продолжали жить самым академическим укладом, по старым школьным программам. Новое только-только рождалось... Страна жила на перепутье времени.

Кончились Гражданская война, военный коммунизм — начался нэп. Полуголодные, полураздетые, мы — надежда и опора молодой советской власти — сели за школьные парты. На нас рассчитывали в будущем как на первое поколение советской интеллигенции. Через 15–20 лет мы должны будем встать у руля жизни!

Честно говоря, тогда мы не сознавали важности своей грядущей исторической миссии и не шибко чтити своих старорежимных учителей, смотревших на нас, детей улиц, с недоумением и растерянностью (вечная и добрая им память). Я не баловал усердием добронравных учителей. В прилежных учениках себя не помню. Усидчивостью и рвением не отличался. Выше «удовлетворительно» по поведению не заслуживал никогда, но из класса в класс переходил легко, в числе первых. Правда, самым первым так никогда и не стал, всегда хотел, но... Скорее всего, не хватало сосредоточенности на чем-то одном, главном — жаден был до всего сразу!

Не хватало честолюбия. А оно, видно, необходимо человеку, поскольку делает его более энергичным в достижении цели, поставленной перед собой.

Разумеется, я не имею в виду гипертрофированное честолюбие, из которого вырастают страшные люди — карьеристы и демагоги. Люди-уроды, выродки, для которых все средства хороши, лишь бы они вели к удовлетворению собственных амбиций и притязаний. Монстры, без малейших нравственных тормозов и оглядок, готовые играть судьбами и жизнями честных людей, в услужение собственному тщеславию сметающие всех, кто оказался на их пути к власти. Подонки.

На рубеже своих восьмидесяти, прокручивая в памяти прожитое, прихожу к грустной мысли, что любителей пожить «сладко» за счет ближнего, к сожалению, не убавилось и сейчас. Скорее наоборот: потребителей в нашей жизни развелось, как поганок в лесу!

История последних десятилетий не очень-то мягко обошлась с русским человеком (впрочем, не только с русским). Социальные проблемы посленэповского периода, коллективизация, первые годы пятилеток — это

все не назовешь легким! Тридцатые годы... В результате пресловутого «культа» и прочих экспериментов не худшая часть русских — советских граждан — исчезла безвозвратно в таежных топях Сибири и Дальнего Востока, «осваивая окраинные рубежи Родины»...

Отечественная война унесла молодых, лучших... На войне всегда погибают лучшие — цвет нации! Все это так. Но... Вроде и война уже далеко позади, и жить стало полегче, а ведь на, поди ж ты!

Сложное существо человек! Всего в нем понамешано вдоволь — и безобразного, и прекрасного! Наверно, все дело в «почве», в которой находится «нот». Она способна вырастить и ангела, и черта! За ней внимательно наблюдать надо, полоть сорняки, удобрять вовремя, подкармливать, избавлять от вредителей — глядишь, «урожай» и отблагодарить не замедлит — вырастет ЧЕЛОВЕК!

«Бытие определяет сознание» — никуда от этой истины не денешься! Что посеешь, то и пожнешь!

Один умный человек правильно сказал: если человека поставить на четвереньки и долго так держать, он в конце концов захрюкает.

Школьные уроки хорошо делаются в ненастье. Кто же усидит за столом, с книгой, когда на небе светит солнышко?!

Моя дочь Юля по этому поводу высказалась так:

Голова уж вконец захламлена
Смесью формул, циклов, цитат.
Ох, уж эти весной мне экзамены!
Хоть бы кто-нибудь был им рад!
Я сижу и мечтаю: вот если бы
От дождя посерели стены...
Тут бы кстати пришлась и сессия,
Я открыла б учебник толстенный,
Иззубрила бы все до донышка,
Но ведь солнышко...

Так что и мое интеллектуальное и духовное развитие находилось в прямой зависимости от погоды. Неустойчивый ленинградский климат лишь благоприятствовал постижению наук. Наверное, поэтому коренных ленинградцев и отличали от всех прочих прежде всего высокая культура и образованность. Настоящего ленинградца всегда и всюду узнавали с первого взгляда.

В послевоенное время, к сожалению, климат во всем мире сделался неустойчивым, и свое преимущество ленинградцы (увы!) постепенно утратили. Теперь их уже не отличишь от всех прочих горожан России.

Ненастье способствовало также и привычке к чтению. А первое приобщение к искусству, к зрелищам — цирк, театр, кино, — конечно же, произошло, если и не в плохую погоду, то уж, во всяком случае, не днем, а вечером...

Недаром говорят: кино — дело темное!

Не только темное, но и тихое — «Великий Немой» еще не заговорил. Это чудо произойдет чуть позже, через несколько лет.

Пока еще Мустафа не получил свою «Путевку в жизнь»!..

Я не помню первых своих впечатлений от кинематографа, но что это произошло в кинотеатре «Яр», убежден абсолютно.

«Яр» — Мекка наших кинематографических странствий!

Зажатый между двумя жилыми домами на 7-й линии Васильевского острова, между Большим и Средним проспектами, он находился рядом с кинотеатром «Форум», через бульвар от Андреевской церкви, куда водили нас по престольным праздникам наши родители, скорее в силу традиции, нежели по убеждению.

«Форум» был нам не по карману, и мы его презирали. Тем более что детей не всегда пускали в него даже с билетами.

Мы, василеостровские пацаны, любили «Яр»! С курчавым тапером за плохоньким пианино, с длинным, как кишка, залом человек на двести, без всякого фойе, с кассой, выпирающей на тротуар улицы. В ней восседала громадная, как комод, раскрашенная нэпманша Рая, жена хозяина. Звали хозяина Исай Матвеевич, по прозвищу Мотя.

Мотя не пекся о нашей целомудренности, как в «Форуме», и пускал к себе в «Яр» в любое время и на любую картину почти бесплатно. Делал он это виртуозно!.. Разжимал наши потные кулаки с зажатой в них мелочью и вытряхивал все в кассу, не интересуясь количеством. Накопив жаждущих достаточно, он открывал дверь в зрительный зал и быстро загонял всех в темноту, предоставляя право самим искать себе место.

Обычно сеанс начинался с видовой картины, по-теперешнему — с научно-популярной или хроникальной. Затем шла короткометражка, чаще всего это была веселая комическая лента.

В этот момент Мотя и ухитрялся запускать в зал следующую порцию. Он был хороший психолог: когда зрители смеются, их меньше раздражают опоздавшие.

Кончалась короткометражка, на время зажигался тусклый свет, в зал

вваливалась последняя порция опоздавших — и пацанов, и взрослых, свет медленно гас, и начиналось наконец самое главное...

Зрелище, ради которого мы готовы были забыть все на свете, даже футбол!

Готовы были бесконечно сидеть на грязном полу в проходе набитого до отказа тесного зала частной «киношки», заплеванные семечками, потные, с судорожным от спертого воздуха дыханием, как у выброшенной на берег рыбы, замороженно, с открытыми ртами глядя на четырехугольник белой простыни на стене, волшебным образом уносивший нас в экзотические страны...

В пульсирующем луче «Великого Немого» на экране возникали картины манящих к себе таинственных миров, населенных красивыми женщинами, мужественными, сильными и великодушными мужчинами, не щадившими своих жизней во имя справедливости, добра и любви...

В те благословенные времена зло еще всегда наказывалось, даже в заграничных фильмах. Тогда это еще было законом искусства!

Это уже далеко потом, в послевоенные десятилетия, мировой кинематограф сделался чем-то вроде справочника-путеводителя по «сладкой» жизни — учебного пособия по ограблениям и убийствам.

Сколько юнцов, соблазненных изощренной пропагандой человеконенавистничества, закамуфлированного под добродетель, сыплющегося, как из рога изобилия, с экранов мира на головы и души обывателей, примут «философию» летящего в пропасть безумного мира!

Все эти соблазнительные киноужасы не пройдут человечеству даром — аукнутся по всему миру! Да еще как!

Послевоенный мир, как проказой, оказался пораженным насилием и жестокостью! Порнографией и наркоманией!

И надо честно признаться, что наряду с социальными причинами несправедливой устроенности мира не последнюю роль в этом, к сожалению, сыграл и кинематограф со своей грандиозной силой воздействия на человека, и на молодежь особенно.

Ведь далеко не случайно многие преступники, бравирова перед следователями своими «художествами», ссылаются на кинематограф как на пример, как на первого учителя по технике совершения преступления!

Не следует забывать, что часто подобная кинопродукция создается действительно талантливыми, одаренными художниками. Поэтому степень пагубного влияния на умы и души удесятеряется!

И по меньшей мере «страусовой» позицией являлось утверждение некоторых наших маститых социологов, что нас, Советский Союз, это не

касается. Дескать, это проблема «гнилого Запада», Америки! Такая точка зрения — чистейшая демагогия, если не преступление перед страной! Касается, да еще как! Так же, как малейшее колебание курса валюты на мировой бирже немедленно вызывает изменение финансовой «погоды» во всем мире (и социалистическом в том числе), так и власть мирового кинематографа безгранична!

Всякие разговоры относительно обособленности «социалистического киноискусства» — демагогия! Никакие расстояния в наш космический век, никакой «железный занавес» не спасут! Все в мире взаимосвязано.

...Кончается очередной сеанс.

Зрители умиротворенно покидают «киношку», оставляя возле своих мест на полу память о себе — кучи подсолнечной шелухи...

Все двадцатые годы процветала мода на семечки. Их щелкали все, и стар и млад! С восхода солнца и до захода! Везде: дома, на работе, на бульварах и в трамваях... Обязательно в местах массовых гуляний, на площадях и, конечно, в театрах и кинематографах...

Шелестящий шум подсолнечного прибоя, подобно «Девятому валу» Айвазовского, носился по василеостровским проспектам, оседая в порывах холодного балтийского ветра серым хрустящим ковром под ногами на истоптанной зелени бульваров и под стенами домов.

На каждом углу улицы, особенно у входа в кинематограф (тогда не говорили «кинотеатр»), стай торговок семечками бойко ссыпали в подставленные, оттопыренные карманы идущих в кино и из кино покупателей стаканы жареного зелья.

Васильевский остров — далекий мир детства!.. Малая родина моя!

Окончив семь классов средней школы, я решил, что хватит в моей жизни наук, пора заниматься делом. Лет мне было всего только пятнадцать, поэтому, «одолжив» документы у старшего брата Бориса, я кинулся поступать учиться на веселых, ловких, сильных, смелых «сверхчеловеков», живущих в фантастическом мире цирка!

Какой мальчишка не бредит цирком! Не летает во сне, как птица, под куполом, не крутит немислимые сальто-мортале в залитом электрическим светом, сверкающем, манящем кольце циркового манежа!

Осенью 1930 года Ленинградский эстрадно-цирковой техникум

пополнился еще одним студентом — Борисом Жженовым. Я был принят на акробатическое отделение.

Из Бориса снова превратиться в Георгия не составило труда, мне этот «фокус» простили.

Уже через год вместе со своим однокашником Жоржем Смирновым мы срепетировали каскадный эксцентрический номер «китайский стол» и начали выступать в Ленинградском цирке-шапито — как «2-ЖОРЖ-2», в жанре каскадной акробатики.

В цирке меня и «подсмотрели» киношники. Пригласили на киностудию «Ленфильм». Предложили сниматься в главной роли тракториста Пашки Ветрова в фильме «Ошибка героя».

На кинопробу взята была сцена объяснения в любви, с объятиями и поцелуями...

Мне не было еще и семнадцати лет, паренек я был целомудренный, застенчивый, любовного опыта не имел никакого, стеснялся и краснел ужасно. Дрожали руки и ноги, прыгали мышцы на лице... Не то что поцеловать — мне было стыдно взглянуть в глаза своей партнерше... Вернее, партнершам. Так как в этот день на единственную женскую роль в фильме пробовалась не одна, а семь молодых и очень красивых, как мне тогда казалось, девушек. Семь молодых актрис!

С одной стороны, это еще больше усугубило мои страдания, с другой стороны, и облегчило: с каждой следующей партнершей я становился увереннее, свободнее, постепенно входил во вкус сцены, впервые познав живую прелесть долгих поцелуев, хотя и исполняемых публично, на людях, вроде бы понарошку, но настоящих до головокружения (кино прежде всего во всем любит достоверность).

Ко мне постепенно возвращалась нормальная пластика. Из манекена, деревянного робота я снова становился живым человеком.

К концу съемки, обнимаясь с шестой-седьмой кандидаткой в невесты, я освоился настолько, что, спроси меня, с кем из них мне было особенно приятно играть, я, кажется, смог бы ответить!

Через несколько дней позвали посмотреть первые в моей жизни кинопробы. Увидев самого себя на экране, я пришел в такой ужас, что, не дождавшись конца показа, тихо, пока никто не видел, в темноте исчез из зрительного зала и убежал от стыда из студии. Я так расстроился, что несколько суток не показывался даже домой...

Позже выяснилось: меня искали.

Когда я явился домой, мать, стиравшая белье, подняла голову от корыта и, убедившись, что со мной ничего не случилось, сказала:

— Явился!.. За тобой приходили с «Ленфильма». Они утвердили тебя на что-то. Поздравляли меня. В общем, я ничего толком не поняла.

Так неожиданно для себя из циркового акробата я превратился в киноартиста. Но сила первого впечатления от самого себя жива! Прошло шестьдесят с лишним лет, а ощущение, похожее на стыд, продолжаю испытывать и теперь, когда вижу сам себя на экране.

Никаких особенных дивидендов фильм «Ошибка героя» не принес советскому кинематографу, разве что явился моим дебютом. И дебютом еще одного артиста — прекрасного артиста Ефима Копеляна.

Снимал фильм режиссер Эдуард Иогансон.

С этого фильма и началась моя бескорыстная любовь к кинематографу, продолжающаяся с некоторой взаимностью уже около семи десятков лет! И тысячу раз правы кинематографисты, говоря: «Кто однажды в жизни понюхал запах ацетона (запах пленки), тот никогда уже от этого запаха не отделается». Всей своей жизнью свидетельствую, что это так! Во всяком случае, всегда, когда право и возможность выбрать профессию принадлежали мне, а не обстоятельствам, я возвращался в кинематограф.

Так впервые я поступил и тогда, в 1932 году, когда оставил после фильма цирк и пошел учиться на киноактерское отделение Ленинградского театрального училища к педагогу, ныне всемирно известному кинорежиссеру, Сергею Аполлинариевичу Герасимову.

Ядреный запах манежа, запах здоровья я, не раздумывая, променял на запах ацетона!

А нежные чувства к цирку — при мне. Храню их всю жизнь, как первую любовь. Как юношескую романтическую попытку приобщения к прекрасному миру искусства.

Арест

Впервые в жизни я испытал настоящий страх в ночь с 4 на 5 июля 1938 года.

В эту трагическую для меня ночь, возвращаясь домой, я увидел в створе открытой входной двери в мою квартиру дремлющего на сундуке под зеркалом нашего управдома рядышком с моей женой. Когда я, еще ничего не понимая, прикрыл за собой дверь, в поле моего зрения оказались еще двое: красноармеец с винтовкой и командир в форме НКВД. Оба вымокшие до нитки, у обоих под ногами лужи воды: на дворе громыхала гроза. У командира в руке были свернуты трубочкой какие-то бумаги.

Управдом, кивнув на меня, сказал:

— Он.

— Фамилия? — спросил командир.

— Жженов.

— Имя?

— Георгий.

— Отчество?

— Степанович.

— Год рождения?

— 1915-й.

Командир сверил ответы с данными в бумаге.

— Разрешите пройти в комнату. Вот ордер на обыск.

Он протянул мне бумагу, которую все время старался не замочить.

Моя реакция на пережитый страх была совершенно неожиданной: я уснул. Буквально как только начался обыск, я прилег на кровать и уснул... Вырубился, отключился, как отключаются предохранители в электросети, когда напряжение становится угрожающим и неизбежны замыкание, катастрофа.

Как все-таки удивительно и сложно создан человек!

Проснулся я, когда уже брезжил рассвет. Жена тихонько трогала меня за плечо и говорила: «Вставай, переоденься...» Обыск закончился.

— Подпишите акт, — сказал командир и добавил: — Вам придется поехать с нами.

— А ордер на арест у вас есть? — спросила жена.

— Конечно, а как же! — командир раскрутил трубочку и вытащил еще одну казенную бумагу. — Пожалуйста.

Надо отдать должное: все формальности, связанные с обыском и арестом, были соблюдены. Все шло хорошо, тихо. Казенных бумаг хватало. Все, что следовало подписать, было подписано. Арестант проснулся и молчит — опять-таки хорошо. Вообще все хорошо! Вот разве только сам командир не знал, что же он искал всю эту ночь... Но это уже, как говорится, разговор другой. Важно, что приказ начальства выполнен «как положено». Ночь, слава богу, тоже прошла, уже утро — конец работе, прекрасно! Не придется ехать по следующему адресу.

Перед самым уходом на вопрос жены, надо ли мне что-нибудь взять с собой, командир ответил:

— Зачем? Если не виновен, вернется через несколько дней.

— Нет. Кто к вам попадает, скоро не возвращается, — печально констатировала жена.

Говорить о том, что мы, ленинградцы, не знали о происходящих в городе массовых арестах, не приходится: конечно, знали. И обсуждали. Правда, в сугубо своем, родственном кругу, да и то с опаской, осторожно. В тридцать седьмом — тридцать восьмом годах мало кто кому доверял. Бывало, отец отказывался от сына, сын от отца — к сожалению, бывало. Об этом знали, говорили и недоумевали, поражаясь количеству арестов. Но думали как-то умозрительно, как о чем-то происходящем вне нас, вне наших судеб, поэтому даже в самом страшном сне я и представить себе не мог, что когда-нибудь меня будут ждать в моей квартире вооруженные люди на предмет ареста. И все-таки это произошло... В ночь с 4 на 5 июля 1938 года случился самый страшный страх в моей жизни. Все последующие страхи, а они были, и не единожды, ни в какое сравнение с этим ночным страхом не шли. Поэтому она, та ночь, и запомнилась в мельчайших деталях и навсегда.

...Запомнилась скорбная поза нашего дворника, сочувственно наблюдавшего, как меня вели под конвоем к ожидавшей у ворот «эмке»...

...Запомнилась и жуткая вежливость командира, предупредительно распахнувшего передо мной дверцу машины...

...Запомнилось и первое теплое после ненастного июня чистое солнечное июльское утро — несчастное утро моей жизни!..

Я, заботливо стиснутый конвоирами, сидел в «эмке», едущей последним прощальным маршрутом с Первой линии моего родного Васильевского острова по набережной самой прекрасной в мире реки Невы, мимо моего детства, Меншиковского дворца, Ленинградского университета, где помещалась 204-я трудовая средняя школа, в которой я учился, и далее, мимо Зоологического музея, Академии наук, на

Дворцовый мост...

Судьба дала мне возможность попрощаться с бессмертным памятником Растрелли — Зимним дворцом, Эрмитажем, в последний раз вспомнить Лизу из «Пиковой дамы». Машина проехала мимо Мраморного дворца к Дому ученых, обогнув Марсово поле и решетку Летнего сада, свернула на улицу Воинова (бывшая Шпалерная), пересекла Литейный проспект и остановилась у ничем не примечательных ворот «Большого дома», о котором позже сочинились строчки:

На улице Шпалерной
Стоит волшебный дом:
Войдешь в тот дом ребенком,
А выйдешь — стариком.

По сигналу «эмки» ворота гостеприимно распахнулись и проглотили вместе с машиной все двадцать две весны моей жизни. Такие понятия, как честь, справедливость, совесть, человеческое достоинство и обращение остались по ту сторону ворот.

В регистрационной книге внутренней тюрьмы НКВД я значился 605-м поступившим в ее лоно в это ясное «урожайное» утро 1938 года.

«Кресты»

Опять весна... И опять снится мне тюрьма — наваждение какое-то!..

Опять я в «Крестах»... В самом чреве гудящего людского муравейника.

Меня ведут по натертому диабазовому полу корпуса, разделанному в виде замысловатых отсвечивающих полукружий, к крутым маршам железных лестниц, напоминающих корабельные трапы...

Вместо привычных потолочных перекрытий, разделяющих этажи, вдоль стен «висят» металлические конструкции галерей, на которые выходят бесчисленные двери камер...

Мы поднимаемся на самую верхнюю галерею, по висячему железному мосту переходим на противоположную сторону и идем вдоль камер в самый конец галереи, оповещая о своем приближении ударами огромного ключа по металлическим перилам галерки (сигнал, по которому надзиратели заранее убирали с нашего пути всех, кого вели навстречу: никаких контактов!).

С высоты пятого этажа галереи вниз во всей красе просматривается узор диабазового «паркета» — искусство тюремных полотеров из «принудчиков»...

На случай, если у заключенного возникает вдруг фантазия совершить последний полет с верхней галерки вниз, через весь корпус на уровне второго этажа от стены до стены натянута металлическая сеть (наподобие цирковой), страхующая от подобных желаний свести счеты с жизнью...

«Кресты» — тюрьма одиночных камер. Лишь самые крайние на каждом ярусе галерей сдвоенные. Моя камера сдвоенная, крайняя... Нас в ней как сельдей в бочке! Вместо двух человек по норме — двадцать один человек, плюс «параша» — жуть!.. Она — единственное свободное пространство для вновь прибывшего. Некоторое время и я жил на «параше», пока кого-то не выдернули из камеры «с вещами» и не произошла соответственная подвижка мест...

Смрад, духота, вонь!.. На оправку и к умывальникам выгоняют дважды в сутки — и все это «на рысях», в спешке. Тюрьма переполнена сверх предела. Пропускная способность не соответствует «урожаю» последних лет.

Весь тридцать восьмой год никаких прогулок, администрация не справляется.

Семь месяцев сижу без единого вызова — никакого движения. Где мое дело, в какой стадии следствия, не знаю. Сижу на консервации. Без конца требую бумагу для жалоб! Когда ее дают — пишу протесты во все инстанции, какие только могу придумать. Ни ответа ни привет! Бесплезно. Глухо.

Кормят отвратительно. Начали появляться признаки цинги — кровоточат десны, шатаются зубы...

В один из редких обходов начальства пожаловался врачу. Врачиха (жена начальника тюрьмы) обещала выписать винегрет и обманула... Роскошная женщина, королева снов моих, моя богиня (влюбился в нее с первого взгляда), обманула меня как последняя сука!..

Шестьдесят с лишним лет прошло, а я и сейчас вижу ее, с пожаром медно-каштановых волос на царственной голове!..

Каждую весну она является мне во сне — красивая, статная, величаво-снисходительная, упоенная колдовской силой своего женского обаяния.

Я чуть ли не физически ощущаю прикосновение ее волос к своему лицу, презрительную нежность холеных рук, когда она с профессиональным бесстыдством ощупывает мое тело в поисках «автографов» следствия...

Слухи о том, что в следственных тюрьмах бьют, в конце концов перестали быть секретом НКВД. Шила в мешке не утаишь! Количество арестов поражало, рождало слухи, наводило на размышления, настораживало... Ленинградцы перестали спать по ночам, в страхе прислушиваясь к шагам на лестнице, к шуму ночного лифта.

«Великий вождь всех времен и народов» вынужден был в конце концов выступить с осуждением «некоторых перегибов и беззаконий», допущенных в процессе разоблачения врагов народа. Собственную вину за кровавые преступления и зверский произвол, чинимый над миллионами ничего не понимающих, ошарашенных людей, «отец родной» в очередной раз ловко переложил на плечи своих соратников из органов НКВД, не в меру послушно и ретиво уничтожавших цвет нации...

Осенью тридцать восьмого Хозяин с восточной беспощадностью убирал из игры слишком много знавших и потому опасных свидетелей. Он расправлялся с ними как с «нарушителями социалистической законности, не оправдавшими высокое доверие партии».

Был снят и расстрелян Н. Ежов. Один изувер уступил поле деятельности другому — Лаврентию Берии.

Этот вурдалак, дорвавшись до «карающего меча революции», для начала порубал им головы подручных своего предшественника, особенно

замаранных в невинной крови сограждан и потому компрометирующих «святой» ореол Сталина.

Время переформирования сил в органах НКВД аукнулось в тюрьмах некоторым затишьем следственного произвола — Берия утверждал в массах свой авторитет! Охорашивался, заигрывал с народом, выдавая себя за кристально чистого рыцаря-чекиста, беспощадного к проявлениям превышения власти, стоящего на страже социалистической законности.

В последние месяцы тридцать восьмого года подрастрялись и разгрузились «Кресты». Поубавилось народу в камерах. Все чаще раздавалась команда «С вещами!». В одиночках, где совсем недавно сидело десять-двенадцать человек, теперь осталось шесть-семь... Кое-кому, под шумок удалось выскочить и на свободу.

Случаи освобождения из тюрем центральная пресса расписывала как результат своевременного вмешательства партии и правительства, положивших конец преступным действиям врага народа Ежова и его приспешников.

Газеты с чудовищным цинизмом уверяли своих читателей, что они имеют счастье жить в том единственном в мире справедливом социалистическом обществе, где клевета и оговор обречены, где честь и личные свободы граждан надежно защищены самой гуманной в мире сталинской Конституцией!

Тем самым народу внушалось, что невинные выпущены или будут выпущены в ближайшее время (их дела пересматриваются), а все те, кто остается сидеть в тюрьмах, отправлен в лагеря или расстрелян, — действительно враги народа.

Наконец и на одну из моих жалоб-протестов «пал выигрыш» — меня вызвали к тюремному врачу.

— Ну, здравствуй, поэт! Рада тебя снова видеть, раздевайся. Показывай свои синяки-шишки.

— Какие шишки? — не понял я.

— Ты же писал, что тебя били?.. Показывай следы избиений, переломов, увечий... В общем, всего, что оставило следы на теле.

— Увечий пока, слава богу, не было, а что касается всего остального... Вам надо было освидетельствовать меня месяцев восемь назад. Вы вчерашний день ищите, доктор.

— Успокойся, поэт, и не огорчайся. Все, кто бил тебя, сами давно сидят!

— А мне какая от этого радость? Они сидят, и я сижу.

— Дурной какой! Это же хорошо, что долго сидишь... Хороший

признак! Значит, не знают, что делать с тобой: выпускать — не выпускать. Глядишь, и на волю выскочишь!.. Чем черт не шутит. Сейчас все может быть. В крайнем случае, получишь лет пять, ты молодой, у тебя вся жизнь впереди. Поедешь на Колыму — там апельсины растут... Не унывай, поэт!

Королева снов моих, моя богиня сегодня благосклонна ко мне, она явно кокетничает, играет, как кошка с беспомощным мышонком. Я прощаю ей все и не протестую. Мне приятно...

Мы уже знакомы. Больше того, по-моему, у нас «роман». К сожалению, платонический.

Знакомство наше случилось в канун ноябрьских торжеств. Перед каждым советским праздником в тюрьме учинялся тщательный «шмон» на предмет изъятия запрещенных предметов. Изымалась бумага во всех ее видах, вплоть до мундштуков от папирос. Отбирались все острые предметы и все красное (на время праздника).

Мне предложено было снять штаны. Красные лыжные штаны... Видно, опасались, как бы в юбилей Великой Октябрьской революции я не стал размахивать ими сквозь намордник зарешеченного окошка камеры. Наподобие известного плаката МОПРа.

Я отказался подчиниться. На меня прикрикнули, пригрозили карцером.

— Не имеете права! — возмутился я. — Это грабеж.

— Не положено, — отвечали мне.

— А сидеть в ноябре без штанов положено? Дайте мне какую-нибудь сменку, что ли...

— Посидишь без штанов, ничего с тобой не сделается. После праздника отдадим.

Штаны унесли.

Вслед за «шмоном» накатила следующая предпраздничная волна — тюремный обход. В камеру вошли начальник тюрьмы, корпусной начальник, тюремный врач, некто из прокурорского надзора и представитель от исполкома Ленсовета.

— Жалобы есть? — спросил начальник тюрьмы.

— Есть! — сказал я. — Прошу извинения перед дамой, но с меня только что сняли штаны... Можете убедиться!

Начальник тюрьмы вопросительно повернулся к корпусному.

— Товарищ начальник, — отрапортовал корпусной, — надзиратели действовали согласно инструкции. После праздника штаны заключенному будут возвращены.

— Я не привык ходить без штанов... Тем более в такой праздник. Мне холодно... Не хотите отдать мои штаны — дайте другие... Мой размер

пятидесятый!

Инцидент все больше приобретал комическую окраску. В камере еле удерживались от смеха. «Концерт» со штанами обещал развлечение.

Спасая серьезность момента, начальник тюрьмы отдал распоряжение заменить мне штаны.

Задал свой коронный вопрос и представитель исполкома, отработывая тем самым свое присутствие в составе обхода.

— Как кормят? — спросил он.

Как будто от нашего ответа что-то могло измениться...

Мои сокамерники повернули головы ко мне, как бы уполномочивая меня отвечать. Сегодня я вел «концерт».

— Как и во всякой тюрьме — плохо! — разозлился я. — Как-как?! Какая разница? В одной тюрьме чуть лучше, в другой — чуть хуже. А в общем-то... везде паршиво.

— Почему?.. На Шпалерке, например, кормят лучше. Хоть пайка там и меньше, зато приварок... кашу дают, — сказал кто-то.

— Кому нравится Шпалерка, могу посодействовать, — улыбнулся начальник тюрьмы.

— Что вы, что вы, — замахал я руками. — Вы не так поняли товарища. Он этой кашей сыт по горло! До сих пор кровью харкает — там бьют!.. Мы этой кашей наелись досыта.

— Ко мне вопросы есть? — подал голос прокурор по надзору.

Камеру прорвало. Почему бьют? Когда выпустят? Долго ли еще сидеть здесь? Почему нет прогулок? Когда снимут позорные намордники с окон? — кислороду не хватает, в камерах духота — спичка не загорается.

— Ваши «когда» и «почему» вне моей компетенции, — развел руками некто из прокуратуры. — Ответы получите по мере разрешения их соответствующими инстанциями.

— Премного благодарны! — поклонился я ему в пояс. — Более исчерпывающего ответа мы и не ожидали от вас, спасибо! Низкий поклон вашим коллегам!.. Скажите, доктор! — обратился я к врачу. — Может быть, в вашей компетенции выписать порцию винегрета? Зубы начали шататься.

Она подошла ко мне, оттянула пальцами нижние веки глаз... Потом осмотрела вспухшие десны, спросила фамилию. Я назвал. Встретив непривычное сочетание «жж», записала в свою тетрадь и ласково пообещала: «Вызову». Обход закончился.

Никаких штанов в праздники мне не принесли. К врачу меня не вызывали. Обещанный винегрет жду до сих пор.

Полгода спустя мы свиделись снова.

На этот раз ее вызвали в связи с приступом эпилепсии, случившимся с одним из заключенных.

До прихода врача мы всей камерой, как могли, старались облегчить бедняге страдания: просунули ему между зубов черенок деревянной ложки, чтобы не поранился и не откусил себе язык в конвульсиях, как это часто случается, подложили под голову мягкое, оберегая от ударов о цементный пол... Словом, пытались всячески помочь ему.

Когда припадок наконец иссяк и больной пришел в себя, понемногу затих и успокоился, в камеру явилась и долгожданная медицина.

Благоухая, как цветущий дендрарий, моя любовь одарила всех нас очаровательной улыбкой.

— Ну, что у вас тут произошло, мальчики? — бодрим, как на физзарядке, голосом спросила она.

Ей объяснили. Подойдя к больному, она заговорила с ним... Взяв его руку, пощупала пульс... Решив, что следует проверить температуру, поставила под мышку градусник... Все проделывалось не спеша, с сознанием собственной неотразимости.

Способность этой красивой женщины нравиться самой себе и получать от этого удовольствие — восхищала!

Я сидел на топчане, тихонько шептал какие-то стихи и откровенно любовался ею.

Она услышала, повернулась ко мне:

— Стишки читаешь, поэт?.. Ну-ка, ну-ка, чего там ты бубнишь, повтори.

— Вам как, доктор, читать — с выражением?

— Читай с выражением, — разрешила она.

Со всей задушевностью, на какую только способен, я начал:

Когда, любовью и негой упоенный,
Безмолвно пред тобой коленопреклоненный,
Я на тебя смотрел и думал: ты моя, —
Ты знаешь, милая, желал ли славы я...

В этом месте, на всякий случай, я сделал паузу, давая ей возможность прервать меня, прекратить мою трепотню... Но она молчала. Ждала...

Я продолжал:

Ты знаешь: удален от ветреного света,
Скучая суетным прозванием поэта,
Устав от долгих бурь, я вовсе не внимал
Жужжанию дальнему упреков и похвал.
Могли ль меня молвы тревожить приговоры,
Когда, склонив ко мне томительные взоры
И руку на главу мне тихо наложив,
Шептала ты: скажи, ты любишь, ты счастлив?
Другую, как меня, скажи, любить не будешь?
Ты никогда, мой друг, меня не позабудешь?
А я стесненное молчание хранил...

И я замолчал...

— Ну, ну, что остановился? Читай дальше, — нетерпеливо потребовала она. — Ты, что ли, это сочинил?

— Да. Вместе с Александром Сергеевичем Пушкиным.

— А!.. Ну читай, читай, я слушаю.

— В следующий раз, доктор! Обещаю к майскому обходу сочинить стихи и посвятить вам лично.

— А не забудешь, поэт?

— Я не забуду. Не забудьте прийти вы, доктор.

— Ладно. Договорились. Так и быть, в награду выпишу тебе рыбий жир, — пообещала она. — Только придется потерпеть, поэт!

— Опять потерпеть!

— Ничего не поделаешь: сейчас весна, рыбий жир портится. Тебе начнут давать его осенью.

Щедрая моя! Ей и в голову не вступило, что в своем восторженном эгоизме она пророчит сидеть мне всю весну, лето... осень.

— Осенью, значит... — разочарованно протянул я. — Это как с винегретом, что ли?

— Каким винегретом?

— Забыли, доктор? Прошлой осенью, во время ноябрьского обхода, вы обещали мне выписать винегрет.

— Да?.. Обещала?.. Не помню, — искренне призналась она. — Может, и забыла, хотя вряд ли... Скорее всего, возможности тогда не было. Вас ведь много, а я одна!.. Меня на всех не хватит. Все, что вам положено, — отдаю. Я лично ваш винегрет не ем. Так-то, поэт! Жду стихи.

Свое обещание я сдержал. Стихи сочинились в одно усилие, легко:

Пришла весна. На север потянули гуси.
А я все жду ее, но тщетно, нет —
Я не дождуся той Маруси,
Что носит в чаше винегрет.
О, милый друг, не плачь, —
Сказал тюремный врач.
Взамен получишь жир рыбицы,
Но, правда, когда птицы
От севера потянутся на юг!

В сентябре 1939 года, когда птицы потянулись на юг, меня в числе других согнали вниз, на «пяточок» корпуса, к кабинету начальника тюрьмы, «за получкой».

Выйдя из кабинета начальника, я увидел в проеме открытой двери медсанчасти мою любовь... Она приветливо махала мне рукой и улыбалась:

— Ну, как дела, поэт?.. Сколько?

— Вы угадали, доктор: пять лет Колымы!

— Вот видишь... Не горюй, поэт! Там апельсины растут! Все будет хорошо.

На столике у нее стоял в стакане букет ромашек. Она вынула один цветок и с улыбкой протянула мне:

— На память тебе, поэт! Прощай.

Когда цветок стал вянуть, я не удержался и сыграл с ним в «вернись — не вернись»...

Последний лепесток на ромашке носил имя «вернись». Что ж!.. Какая ни есть, а надежда.

«Я послал тебе черную розу...»

Сталинский альянс с Гитлером окончательно развеял иллюзию многих тысяч жертв беззакония, томившихся в переполненных тюрьмах и все еще продолжавших верить, что их арест — трагическое недоразумение, ошибка, и не более того...

Скрепленный в августе тридцать девятого рукопожатием Молотов — Риббентроп, альянс этот отозвался по стране сотнями тысяч обвинительных приговоров...

Следственные тюрьмы после некоторого затишья снова спешно разгружались в лагеря...

Особое совещание свирепствовало.

Тюремная морзянка отстучала новость: «Привезли очередную «зарплату» из ОСО. Дают по три, по пять и по восемь...» Так вот почему хлопают двери камер, слышатся голоса надзирателей, стучат и шаркают шаги на галерках... Скоро, значит, дойдет очередь и до нас, грешных, скоро мы узнаем, сколько кому причитается за полуторагодовалый «пансион» в «Крестах», — развязка близится.

...С металлическим лязгом, словно передернули затвор винтовки, открылась «кормушка». Показалось лицо надзирателя. Камера притихла... Пошелестев в руках бумагами, надзиратель громко зачитал несколько фамилий (мою в том числе). Получив ответное: «Есть», скомандовал: «На выход. С вещами».

Нас погнали вниз, на «пяточок» корпуса, и приобщили к группе заключенных из других камер, сидевших на корточках у дверей канцелярии. Вызывали поодиночке.

Ну вот, кажется, и всё... И конец неизвестности! Ружье выстрелило! Заочное судилище состоялось, и я уже не подсудимый — я осужденный. Пять лет Колымы!

Несколько минут назад в присутствии начальника тюрьмы мне зачитали выписку из постановления ОСО НКВД СССР и предложили расписаться в уведомлении.

«Сдохла правда», — через всю официальную бумагу крупно вывел я и поставил подпись.

Чиновник, зачитавший приговор, возмутился, наорал на меня, пригрозил карцером. Потом почему-то сбавил тон и стал даже оправдываться: «Я-то причем? Не я тебе срок давал. Мое дело объявить, и

только... А вот ты — хулиган, мальчишка! Казенную бумагу замарал — испортил. Теперь неприятности будут от начальства...»

«Переживешь, — подумал я, — мне бы твои заботы».

Итак, призрачный лучик надежды, до последнего момента теплившийся на дне моей души, погас. Прощай, мечта о воле!

В ожидании этапа в пересылку всех нас, человек сорок, рассчитавшихся за постой в «Крестах», сгрудили в одну из камер первого этажа корпуса, впритык друг к другу. Не помещавшихся вдавливали коленями и сапогами...

Последние часы пребывания в «Крестах» тюремное начальство постаралось сделать особенно памятными.

Около пятнадцати часов продержали нас стоя, прижатыми друг к другу настолько плотно, что нельзя было повернуться...

За все время ни разу не вывели на оправку. Люди обливались потом... Не хватало кислорода... Кто не мог терпеть, мочились под себя. Вонь стояла несусветная! А тут еще начальство тюрьмы распорядилось накормить баландой, причитавшейся нам согласно рациону и недоданной в этот день.

И люди ели.

Ели, несмотря на духоту и вонь, ели, потому что хотелось есть и потому что не знали, где и когда дадут пищу в следующий раз.

По поднятым над головами рукам передавали друг другу миски с баландой. Кому досталась ложка, ставил миску себе на голову и ел ложкой, кто просто хлебал через край — держать миску нормально на уровне груди не позволяла теснота.

Спал ли кто-нибудь из нас в эту душную августовскую ночь, не знаю... Если и спал, то наподобие лошади, стоя.

В эту последнюю ночь в «Крестах» я впервые изменил привычке после отбоя провожать каждый прожитый тюремный день (безликий, как и его близнец предыдущий) своеобразной молитвой: «Еще одним днем ближе к свободе!» Увы! Свободы не получилось.

Справедливость торжествует в книгах — там воля автора. В жизни — другое...

Не суждено мне было наяву испытать радость освобождения, не однажды являвшуюся мне в зыбких тюремных снах, бередивших душу при пробуждении.

Надежда исчезла, испарилась, «как дым, как утренний туман...». Растаяла, как льдинка, оставив на теплой ладони сочувственный след — поникшие лепестки ромашки, прощальный подарок сумасбродной

тюремной врачихи.

Было до слез жаль себя. Слезы — это всегда облегчение, они придут потом. Сейчас их не было. Была дикая, терзающая душу боль отчаяния. Рушились остатки веры.

Я прощался не только с «Крестами». Я прощался с собой прежним. Доверчивый ко всему и ко всем, наивный паренек, романтически воспринимавший мир, повзрослел. Завтра из тюрьмы уйдет совсем другой человек, хлебнувший горя. Переживший арест, издевательства следствия, крушение юношеской веры в справедливость... Первые главы повести об исковерканной жизни прочитаны, пережиты.

Начинается новая страница: этапы, пересылки, лагеря... Ну что ж... На ближайшие годы это и будет моя жизнь.

Сам срок, как и вся процедура его получения, вызывал откровенное презрение. Все происходившее казалось настолько диким, настолько за гранью разума, что вспоминалось как-то не всерьез, как театр чудовищного абсурда. И реакция была соответствующей. Например: на корпусном пятакке тюремное начальство сдавало конвою партию осужденных по ОСО зеков, еще не ознакомленных со сроками.

Энкаведешник с тремя кубарями в петлицах зачитывал приговоры:

— Сидоров!

— Есть!

— Отвечать как положено: имя, отчество, год рождения, статья, срок?

— Владимир Федорович, год рождения 1908-й, статья 58.10!

— Срок?

— Не знаю.

— Восемь лет!

— Премного благодарен. — Общее веселье в толпе зеков. Сидоров смеется...

— Фейгин!

Фейгин скороговоркой:

— Есть Фейгин. Семен Матвеевич, 1904 года рождения, статья КРТД — «троцкист». Срок не знаю.

— Десять лет! — Общий хохот. Фейгин притворно плачет. И т. д., и т. п.

Самым коварным считался срок три-пять лет. Особенно получаемый по ОСО. Он имел тенденцию удваиваться, а то и утраиваться по мере его отбывания. Отсидел, скажем, заключенный свои пять лет, его вызывают в УРЧ^[3] лагеря и объявляют еще столько же (мой пример). Долго ли изготовить казенную бумагу за тремя высокими подписями от имени

партии, органов НКВД и советской власти!

Самый незыблемый, прочный срок — десять лет. Меньше просидеть начальство не позволит, больше — сам не вынесешь, дойдешь!

Ничего не меняло, если срок был получен не по Особому совещанию, а по суду. Какими были суды в те годы, известно. И как они были туги на пересмотр дел. В сторону увеличения срока — пожалуйста, но не наоборот.

Так бедолага и продолжал коротать свой неразменный «червонец» от звонка до звонка, если силенок хватало, если не «давал дуба», не сходил с дистанции где-нибудь в середине «забега». Старожилы, не один год просидевшие в следственных тюрьмах, повидавшие многое и многих, завидовали тем, кто получал двадцать-двадцать пять лет!

Эта категория зеков, говорили они, могла в любой момент рассчитывать на пересмотр дела в сторону сокращения срока хотя бы потому, что добавлять было уже некуда! А при счастливом повороте политической конъюнктуры — и вовсе рассчитывать на освобождение.

Примеры тому: некоторые категории военных, ученые, иностранцы — поляки, китайцы и прочие... Словом, все те, кто с началом Отечественной понадобился Кремлю.

Интересно, о чем думали все эти притихшие, ушедшие в себя люди, мои товарищи по несчастью, стоявшие вокруг меня, вернее, висевшие вокруг меня друг на друге? Вероятно, о том же, о чем и я, хотя не все испытывали потрясение.

В «нокдауне» находились те, кто, подобно мне, питал иллюзии насчет освобождения. Более взрослые и опытные оставили надежду дома еще в день ареста. И уж во всяком случае, столкнувшись со следствием, поняли, что возврата не будет.

За моей спиной разговаривали вполголоса. Я прислушался, стараясь разобрать, о чем говорят. Невероятно! Читали стихи! «Я послал тебе черную розу в бокале золотого, как небо, аи...»

Среди скопища висящих друг на друге полуобморочных от духоты и вони людей звучали стихи о Прекрасной Даме. Сплющенные, как скот в загоне, только что клейменные, униженные и растоптанные люди слушали печальные и прекрасные слова Блока о красоте, о любви, о Петербурге... о вечности.

Одного из читавших я узнал по голосу — Юлий Берзин.

Ленинградский писатель, автор книги «Возвращение на Итаку».

Мой сокамерник по восьмимесячному сидению в «Крестах», соавтор по коллективному камерному творчеству — «Детских считалочек 1938 года».

Раз, два, три, четыре —
Мы сидели на квартире,
Вдруг послышался звонок,
И приходит к нам стрелок.
С ним агент и управдом,
Перерыли все вверх дном.
Перерыли все подушки,
Под кроватью все игрушки,
А потом они ушли
И... папашу увели.
Раз, два, три, четыре, пять —
Через день пришли опять.
Перерыв квартиру нашу,
Увели с собой мамашу!
Боже мой! Боже мой!
Завтра явятся за мной.

Щуплый, с чахлой рыжей бороденкой (так путно и не выросшей на тюремных харчах), похожий на доброго гнома Юлик Берзин — барометр камеры, всегда показывавший «ясно, солнечно». Неиссякаемый кладезь хохм и анекдотов — улыбчивый Юлик, с библейской печалинкой, навечно застрявшей в глубине светлых глаз... Как-то сложилась твоя судьба? Жив ли ты? Сдюжил ли восьмилетний «подарок» Особого совещания?..

В эти предутренние часы я услышал незнакомые стихи, врезавшиеся в память намертво, на всю жизнь... Настолько они были созвучны настроению той прощальной ночи в «Крестах».

Прекрасные стихи об узнике, потерявшем ощущение времени, о жажде жизни, о тщетности надежд...

Стихи поразили меня. Услышав однажды, я запомнил их слово в слово на всю жизнь.

Цветистая восточная вязь стихотворных строк не смогла смягчить отчаяние автора, понимавшего, что впереди мрак, бездна. Стихи кричали!

Рожденные за решеткой, они рвались на волю... к жизни. К признанию. Стихи не умирают — не должны умирать! Они как эстафета передаются от поколения к поколению. Стихи — продолжение жизни автора. Вечная о нем память! Они должны, обязаны жить! Умирают поэты — поэзия вечна!

Не ковры тавризские, шелковые
В кованом томятся сундуке —
Дни мои бесценные, пунцовые,
Вечера цветные на замке.

Ткали зря в предсвадебной тревоге
Те ковры рабы не при свечах,
Джан! По ним твои тоскуют ноги
На холодных, звонких кирпичках.

Ин-ша Аллах!.. Игре судьбы конца нет!
Минет срок, и верная рука,
Хной мерцая, бережно достанет
Пленные ковры из сундука.

Лягут вновь они под ноги милой,
Зацветут, заплещутся в лучах —
Только б ты их, Джан, не разлюбила,
До тех пор, о Джан!.. Не истомила
Легких ног на звонких кирпичках.

Мне кажется, что я сейчас еще слышу низкий печальный голос автора, неторопливо и ритмично роняющего в тишину камеры проникновенные слова.

Как всякий художник, он не мог не чувствовать, что рождение его стихов произошло. Они нашли свою первую аудиторию. И какой бы трагичной ни была дальнейшая судьба автора — я верю, что это был момент его творческого счастья! И не такая уж беда, что премьера состоялась не в Колонном зале Дома Союзов, не в Доме литераторов, а в одиночной камере тюрьмы (зато стихи слушали стоя и при переаншлаге!).

На башнях циферблат с скрещенными мечами,
На площадях прозрачные круги,
Где время, легшее послушно вдоль дуги,
Рассечено бегущими лучами.
На дне глубоком праздничных витрин,
На розовых руках сияющие ларцы,
В которых Хронос — древний исполин —

Дражайшей змейкою сумел лукаво сжаться...
О, сонмы башенных, стенных, ручных часов —
Искусного ума бессмертные творенья,
Услышу ли когда шум ваших голосов?..
И поступь мерную. Журчанье вечных строф
Волшебного стихотворенья!
Услышу ли когда я ваш отрадный зов?!
Когда в мою нору, подобно землеройке,
Ночь снова вроеется и страх велит лечь спать,
И я лежу, лежу, закрыв глаза на койке,
Часы, мне кажется, вдруг убегают вспять.
Иль, может быть, стоят? Иль громоздятся грудой?
Но им окончен счет! И времени река,
Смывая памяти крутые берега,
Вдруг разливается огромною запрудой...
И в черном озере все вмиг погребено,
Мир сгинул — шелеста змеиного бесследней.
И камнем хочется мне кинуться на дно,
Чтоб время вновь найти, хотя бы в миг последний!
О, сонмы башенных, стенных, ручных часов —
Искусного ума бессмертные творенья,
Услышу ли когда шум ваших голосов?..
И поступь мерную. Журчанье вечных строф
Волшебного стихотворенья,
Услышу ли когда я ваш отрадный зов?!

С автором я знаком не был. Никогда в жизни его не видел, хотя он и находился всю ночь в нескольких метрах за моей спиной (повернуться физически было невозможно). Рано утром шустрые «воронки» вмиг растащили всех нас в разные стороны.

Фамилия автора Башин-Джагян. Он ученый. Языковед. Один из сподвижников академика Марра. Профессиональным поэтом себя никогда не считал, хотя и печатался в журнале «Нива», еще в дооктябрьские времена.

Это все, что мне известно об этом незаурядном человеке — поэте и ученом.

В чем он обвинялся, какой срок получил, отбыл ли его и какова его дальнейшая судьба, мне неизвестно. Больше я о нем ничего не слышал.

Иллюзии, что он жив, не питаю. Башин-Джагян был значительно старше меня. Я в 1915 году только родился, а он уже печатался в «Ниве» как поэт!..

И все же до сих пор я жду и надеюсь, что имя его так или иначе мне встретится. Откликнется же кто-нибудь из сорока человек, кто августовской ночью тридцать девятого в вонючей камере ленинградских «Крестов» вместе со мной был слушателем прекрасного концерта! Не все же погибли в заключении? Наверняка кто-то дожил до наших дней!

Я понимаю — не все интересуются поэзией... Для многих она сложна, утомительна, непонятна... Многие к ней просто равнодушны. Были в камере и такие... Но были и другие — интеллигенция! Люди, близкие литературе, искусству, люди науки, педагоги. Неужели ночь не оставила в их душах никакого следа? Вряд ли. Тут другое... Я был одним из самых молодых в камере, а сейчас мне уже за восемьдесят! Так что нет ничего удивительного, что никто за эти годы не откликнулся какой-либо весточкой.

Люди гулаговской судьбы не живут до ста лет. Бывают, конечно, исключения — Олег Васильевич Волков, например! (Вечная ему память!)

Я решил не испытывать судьбу, не ждать, когда обо мне начнут говорить «долгожитель», а выполнить свой человеческий долг. Пока я здоров, пока стихи Башин-Джагяна в памяти, я передаю их, как эстафету, читателям. Те из них, кому эти стихи придутся по душе, пустят их, как почтового голубя, дальше, в жизнь! И если этим запискам суждено быть опубликованными, я сочту свою нравственную миссию в отношении поэта выполненной.

Стихи не должны умирать!

Этап

*Будь проклята ты, Колыма,
Что названа чудной планетой!
Сойдешь поневоле с ума,
Отсюда возврата уж нету.*

В транзитной тюрьме Владивостока формировался этап заключенных на Колыму.

Накануне отправки начальство умудрилось накормить этапируемых селедкой. Напоить же вовремя водой, утолить жажду — не удосужилось.

Так весь путь пешком от Второй речки до бухты Золотой Рог к причалу заключенные вынуждены были терпеть, преодолевать жажду. И все последующие двенадцать-пятнадцать часов самой погрузки на корабль отчаянные просьбы дать воды игнорировались начальством, подавлялись конвоем грубо, жестко...

Первыми грузили лошадей. Несколько часов их бережно, поодиночке, заводили по широким трапам на палубу, размещали в специальных палубных надстройках, в отдельных стойлах для каждой лошади... В проходе между стойлами стояли бачки с питьевой водой (к каждому бачку привязана кружка) — для конвоя, для obsługi.

В отличие от лошадей, с людьми не церемонились... Дьявольская режиссура погрузки заключенных на корабль была испытана и отработана до мелочей и напоминала скотобойню...

С приснопамятных времен она успешно практиковалась не только на Колыме, в Караганде или на Печоре, но всюду и везде, где могущественный ГУЛАГ помогал большевикам строить социализм в России.

Людей гнали сквозь шпалеры вооруженной охраны, выстроенной по всему пути, в широко распахнутую пасть огромного тюремного люка. В само чрево разгороженного многоярусными деревянными нарами трюма. Как стадо баранов, гнали рысью, под осатанелый лай собак и улюлюканье конвоя, лихо... с присвистом и матерщиной. «Без последнего!..»^[4]

Не знаю, существует ли подобное и сейчас, в новом тысячелетии, но тогда, в памятном для меня тридцать девятом, всю прелесть этой «режиссуры» я испытал сполна на собственной шкуре.

Когда наконец беременная лошадьми и людьми «Джурма» медленно отвалила от причала, в ее наглухо задренном трюме, гудящем, как

пчелиный улей, уже зрел жуткий, сумасшедший бунт.

Корабль, набитый массой осатанелых от жажды людей, стонал, вопил сотнями исходящих пеной, охрипших глоток, требовал воды! ВОДЫ!! В-О-Д-Ы!!!

Капитан категорически отказался продолжать рейс. «До тех пор, пока люди не получают воду и не придут в себя, никто не заставит меня выйти в открытое море с сумасшедшим домом в трюме, — заявил он. — Немедленно напоите людей».

И только после этого заявления до конвоя, кажется, дошло, какую опасность представляет взбунтовавшийся в море корабль с сотнями запертых в трюме, мучимых жаждой людей.

Срочно была предпринята попытка подать заключенным воду. Раздраили трюмный люк. С палубы в ствол трюма, в этот ревущий зверинец, начали спускать на веревках бачки с пресной водой... Бесполезно — слишком поздно спохватились!..

Стоило только в проеме трюма появиться первому бачку, как мгновенно к нему бросились озверевшие, утратившие последний контроль над собой люди... С хриплыми воплями, сметая, давя и калеча друг друга, они карабкались по трюмным лестницам к спасительному бачку. Со всех сторон тянулись к нему сотни рук с мисками, кружками... Через мгновение бачок заметался из стороны в сторону, заплясал в воздухе, словно волейбольный мяч, был опрокинут и с концом обрезанной кем-то веревки исчез в недрах трюма.

Вода из него так и не досталась никому, никого не напоила и, даже не долетев до днища трюма, у всех на глазах мгновенно превратилась в пыль, в брызги, в ничто... Следующие несколько попыток постигла та же участь.

Тогда в трюм спустились конвоиры. Короткими автоматными очередями по проходам трюма им удалось на какое-то время разогнать всех по нарам, приказав лежать и не двигаться... С верхней палубы в проем трюма быстро спустили огромную бочку, размотали в нее пожарный брезентовый шланг, подключили помпу...

Со всех нар за этой процедурой лихорадочно следили сотни воспаленных глаз — ждали... Слышно было, как заработала помпа, зашевелился, ожил шланг... в бочку полилась вода... И, как только автоматчики ретировались на лестницу и поднялись на палубу, — к воде кинулись люди.

Мгновенно у бочки образовалась свалка. За место у водопоя началась драка, поножовщина... В ход пошли лезвия безопасных бритв, ножи, утаенные уголовниками после этапных шмонов... запахло кровью... Кто не

сумел пробиться к бочке, бросились на лестницу к пожарному шлангу... Цеплялись за висящий, упругий от напора воды шланг, тянули его на себя... Ножамы вспарывали, дырявили парусину... К хлеставшей из дыр воде подставляли разинутые, пересохшие рты и судорожно, жадно глотали ее... Давились, торопились, захлебывались... Вода из прорванных шлангов текла по лицам, телу, по набухшей одежде, стекала по ступенькам лестницы... Ее ловили в воздухе, облизывали ступеньки... К ней лезли друг через друга — сильные сталкивали с лестниц слабых, те остервенело сопротивлялись, хватались за набрякшую, сочившуюся водой одежду соседа... Как пиявки, впивались зубами, повисали на ней и с жадностью обсасывали... Торопились напиться, пока их не сбросили вниз, на дно трюма... Оттуда к водопою лезли и лезли новые толпы обезумевших от жажды зеков.

И уж нечто совсем фантастическое, подобно миражу в пустыне, являла собой на этом фоне компания блатных авторитетов — элита преступного мира: крестные отцы, воры в законе, паханы, аферисты всех мастей... Вся эта уголовная сволочь, вольготно обосновавшаяся на верхних нарах, вблизи распахнутого люка — поближе к свету и к свежему морскому воздуху. Они, эти подонки, были настоящими хозяевами этапа. Как римские патриции, возлежали они на разостланных по нарам одеялах; не боясь никого и не таясь, нагло потешались над происходящим... Глушили спирт, курили «травку», играли в карты, кололись, вкусно жрали... От жажды они не страдали — у них было все! Все, вплоть до наркоты! Всевозможная еда, спирт, табак и даже... женщина! (Если можно было назвать женщиной полуголое существо в мужских подштанниках.) Вдребезги пьяная распатланная девка, размалеванная похабными наколками (одному сатане известно, откуда и как приблудившаяся к мужскому этапу), томно каталась по нарам за спинами резавшихся в карты воров и зазывно вопила: «Воры, почему же вы меня больше не е...те?!»

Деньги, добротные шмотки — все уворованное, награбленное, под угрозой ножа силой отнятое у фраеров — политических — сносилось молодым жульем (шестерками) к ногам паханов и тут же шло на кон, разыгрывалось в карты. Вещи, как бабочки, порхали от одного игрока к другому...

Неизвестно, достиг бы бунтующий ковчег «земли обетованной», если бы капитан «Джурмы» не вмешался в действия конвоя и не принял собственных, решительных мер.

Опытный моряк, не первую навигацию поставляющий на Колыму дармовую гулаговскую рабсилу (заключенных), он понимал, в каком

положении оказался из-за преступной глупости конвоя, не сумевшего вовремя напоить людей. Он понимал, что никакие полумеры уже не помогут, — соображать надо было раньше, на берегу.

В создавшемся положении «Джурма» представляла собой плывущую в НИКУДА пороховую бочку с подожженным фитилем... Вот-вот бабахнет! Рванет так, что никого и ничего не останется! Все окажутся на дне... там, где все равны... и «чистые», и «нечистые», все! Расплата за глупость неизбежна.

В этой критической ситуации, когда перепуганная насмерть, растерявшаяся охрана не знала, что делать, капитану ничего другого не оставалось, как решиться на крайнюю меру — единственную, пожалуй, которая могла еще утихомирить людей и предотвратить катастрофу.

В момент, когда ярость вконец озверевших заключенных достигла последнего предела, готова была выплеснуться из недр мятежного трюма на палубу и разнести вдребезги корабль, — капитан отдал распоряжение залить бунтующий трюм водой. Залить немедленно, из всех имеющихся на корабле средств.

Срочно были подтянуты дополнительные пожарные шланги, включена помпа, и из всех люков на головы беснующихся в трюме людей полились потоки пресной воды...

В короткое время днище трюма по щиколотку оказалось залито. Зеки получили наконец долгожданную воду и упились ею вдоволь, что называется, от пуза — пей не хочу! Расчет капитана оправдался: бунт утих, опасность миновала. Опасность миновала для корабля, но не для людей.

Эксперимент, учиненный конвоем над человеческой выносливостью, уже на утро следующего дня выдал первые, тревожные результаты. У сотен заключенных обнаружались признаки одной из самых страшных в условиях длительных этапов болезни — дизентерии (королевы клопами провонявших пересылок, вшивых этапов и голодных безпенициллиновых лагерей).

Я не знаю, сколько несчастных так и не достигли «земли обетованной», — канцелярская отчетность на этот счет, наверное, существует, — знаю одно: их много!

Количество заключенных, взошедших на борт «ноева ковчега» в бухте Золотой Рог, далеко не соответствовало количеству сошедших с его трапа в бухте Нагаево в Магадане. Колыма не дождалась тогда многих...

5 ноября 1939 года. Оттепель... Крупными влажными хлопьями валит снег — оседает на мокрых тряпках кумачовых полотнищ, славящих нерушимую дружбу партии и народа... На белесых от оттепельной

изморози стенах портовых зданий, как пятна крови, рдеют флаги, предвестники близкого праздника... Столица Колымы прихорашивается в преддверии «Великого Октября».

Магадан встречает «гостей».

Вся территория порта оцеплена войсками НКВД и ВОХР. На пирсе много начальства. Шпалеры солдат у причала... И всюду собаки... собаки... собаки. Пронзительно кричат чайки...

У причала белый пароход с поэтическим названием «Джурма».

Закончена швартовка, брошен якорь, спущены на берег трапы — рейс окончен. Очередной этап заключенных из Владивостока (печально знаменитый «дизентерийный этап») прибыл.

За пять суток пути корабля несколько сот заключенных оказались жертвами вспыхнувшей на корабле дизентерии. Многие из заболевших умерли в пути и были выброшены за борт — похоронены в холодных водах Охотского моря.

Бедолаги не оправдали возложенного на них доверия Родины — обманули ГУЛАГ, посмели умереть раньше «положенного»... Колымским безымянным погостам они предпочли братскую могилу Охотского моря.

Из распахнутых трюмных люков валит пар — идет разгрузка. На палубу из недр трюма и дальше по трапам вниз, на берег стекает нескончаемый поток заключенных... Под понукающий мат конвоя, крики охраны и истошный лай собак их гонят сквозь плотные шеренги солдат на берег... выстраивают по «пятеркам». На ходу перестраивают в «сотни»... Сформированную партию в сто человек подхватывает конвой и «без последнего», рысью, прочь из порта, гонит на выход, в сторону Магаданской транзитной тюрьмы.

Все происходит как и при погрузке этапа во Владивостоке. Повторяется зеркально, с точностью до наоборот. Разница в том, что тогда нас гнали с берега на корабль, теперь — с корабля на берег. Режиссура та же.

В суতোлке разгрузки перемешались и политические, и уголовники. В нашей «сотне» кроме нескольких «блатных» (неведомо когда приблудившихся к нам) оказались в основном те, с кем я прошел весь этапный путь от Ленинграда до Магадана. Это были военные: старший и средний командный состав Красной Армии. Большинство — работники штаба Ленинградского военного округа. Многие из них, как это ни странно, к тюремным лишениям оказались мало приспособленными.

Из последних сил, подгоняемые конвоем, они тащили на спинах

огромные узлы бесполезного имущества: скорбный, прощальный дар убитых горем жен, матерей, родственников, переданный при последнем свидании в Ленинградской пересылке.

Несчастные женщины! Откуда им было знать, что все это святое добро, с такой мукой собранное, добрыми людьми от сердца даренное, слезами политое, — не поможет их близким... Не обогреет, не сохранит здоровье, скорее наоборот — обернется лишней обузой, бесконечной тревогой, станет пристальным объектом внимания со стороны уголовников.

Откуда им было знать, что все эти десятки килограммов дорогих, добротных вещей окажутся зряшными, бесполезными; они только усложнят этапную жизнь заключенного и в конце концов неизбежно перекочат к блатным или окажутся добычей лагерных придурков.

Откуда им было знать, что дорогие сердцу личные вещи (последняя зримая память о доме) совсем скоро покинут своих владельцев — будут отняты, разворованы, разграблены в бесконечных лагерных передрягах... Вещи дорогие, личные — станут лишними, чужими, превратятся в лагерные «шмотки», в разменную карточную монету блатных. Все лучшее в качестве «лапы» приживется у начальства.

Воры как более опытные, или заранее наслышанные насчет порядков Магаданской транзитки, или успевшие побывать там сами, шли налегке — никаких вещей! Только то, что на себе и что полегче... Приклад в спину им не грозил — они хорошо знали, что такое «без последнего».

К своей чести должен сказать, что у меня, кроме длинной кавалерийской шинели на плечах да штанов и рубахи на теле, ничего больше не было. Шинель подарил мне земляк-ленинградец, неожиданно вызванный с этапа на переследствие (бывало и такое — помоги ему бог!). Он же и научил меня не иметь в этапах лишнего. Поэтому шел я легко, приклада конвойного не боялся.

Очень худо пришлось нашему подопечному другу — Борису Борисовичу Ибрагимбекову. Кроме тяжелого кожаного реглана на плечах со споротыми полковничьими знаками различия, он тащил на себе, согнувшись, как японский самурай, целый вигвам роскошных бесполезных вещей: новый полковничий китель, штаны с лампасами, сапоги и прочие принадлежности офицерского гардероба, с которыми из гордости ни за что не хотел расстаться... И как мы с моим другом Сергеем Чаплиным его ни уговаривали, сколько бы ударов в спину он ни получал от конвойного, ничто не действовало... Шатаясь, подгоняемый тычками, матом, старик упорно продолжал тащить свой «крест»... как Христос на Голгофу! И никакие усилия убедить его в бессмысленности упрямства на него не

действовали. В ответ старик крутил головой и кричал:

— Вы нелюди! Вы звери, животные!.. Неужели не понимаете, что я офицер! Я давал присягу... Я не могу лишиться чести!

— Старый дурак! — втолковывали мы ему. — Конвой забьет тебя до смерти вместе с твоей честью, пропади она пропадом! Вместе с твоим упрямством... Бросай шмотки к чертовой матери... пока не сдох!..

Ничто не действовало. Старик продолжал получать тычки в спину. Стало ясно, что он вот-вот упадет под прикладом конвойного и уже не встанет. Кончилось тем, что пришлось насильно стащить с его спины вещи и выбросить их через забор на кладбище, мимо которого в этот момент нас гнали.

Подхватив упиравшегося старика под руки, мы с Чаплиным поволокли его в середину колонны, подальше от конвоя.

Странно было: почему блатные, идущие рядом и с удовольствием наблюдавшие эту сцену, сами не проявили ни малейшего интереса к добротным шмоткам полковника?! Впрочем, очень скоро эта загадка объяснится.

Борис Борисович Ибрагимбеков (Ибрагим-Бек!). Высокий, худощавый старик с породистым узким лицом, украшенным внушительным, как у Сирано де Бержерака, кавказским носом... Его гордый нос — не единственное, что роднило его с роستانовским романтическим гасконцем. Оба — поэты, настоящие мужчины, люди чести! Идеалисты, мушкетеры, романтики! Оба блаженны и в доброте своей, и в благородстве... У обоих в крови — шампанское!..

Разница между ними лишь в том, что Сирано де Бержерак — вымышленный герой, а Ибрагим-Бек — живой человек, действительно существовавший на белом свете. В течение пятидесяти с лишним лет он украшал своим благородным существованием эту грешную землю.

Потомственный военный. Окончил кадетский корпус в Петербурге. Воевал в империалистическую 1914–1918 годов. За личное мужество и храбрость награжден четырьмя орденами Георгия (полный Георгиевский кавалер!). В Гражданскую войну воевал на Кавказе. Будучи одним из командиров в легендарной Дикой дивизии, награжден двумя орденами Боевого Красного Знамени (за мужество и храбрость!). В советское время — инспектор кавалерии штаба Ленинградского военного округа. Полковник. Арестован в 1938 году. Приговорен к десяти годам лагеря по статье 58.1а (измена Родине). Женат. Любил жену самозабвенно... Очень страдал в разлуке. Жить не хотел. Умер в 1942 или 1943 году на инвалидной командировке Дукчанского леспромхоза.

Мне выпала судьба и честь знать этого замечательного человека, быть свидетелем последних лет его жизни... А почему, собственно, я называю Бориса Борисовича стариком?

Ему в тридцать девятом году был всего лишь пятьдесят один год! Это мне он казался стариком. Наверное, потому, что я был моложе его вдвое. Тогда все, кому перевалило за пятьдесят, были для меня глубокими стариками.

Наконец показалась и знаменитая транзитка. Этап остановили на вытоптанном снегу перед вахтой. Над воротами вахты красовался выцветший кумачовый транспарант, в категорической форме предупреждавший, что путь в семью трудящихся — только через труд.

Рядом с вахтой находился административный корпус — несколько одинаковых двухэтажных строений, «оштукатуренных» глиной...

Дальше, через всю зону транзитки, тянулись бесконечные ряды низких одинаковых бараков с покатыми крышами, напоминавших совхозные теплицы и доверху занесенных снегом... Лишь дым из труб да расчищенные в снегу ходы в бараки говорили о присутствии в них самих «трудящихся»...

Вся территория транзитки была обнесена густым забором из колючей проволоки. Через каждые сто метров торчали в небо охранные вышки, «скворечники», оснащенные прожекторами и пулеметами... Отдельно от зоны, рядом с дорогой, маячила уродливая громадина транзитной бани... Всю нашу «сотню» в нее и загнали, предварительно пересчитав. В огромном, пустом и холодном помещении без окон, освещенном лишь несколькими тусклыми лампочками под потолком, заперли...

Когда глаза попривыкли к темноте, оказалось, что помещение не так уж и пусто, как показалось спервоначала: весь пол под ногами был сплошь завален полуметровым слоем в беспорядке брошенной одежды. Вперемешку друг с другом валялись видавшее виды заношенное тряпье и добротная, свежая, еще не знакомая с лагерной «вошебойкой» и прожаркой гражданская одежда. меховые шубы, шинели, куртки, пальто, всевозможное белье и так далее.

Панорама распотрошенного, вывернутого наизнанку содержимого арестантских узлов на полу напоминала свежие могильные холмики на этом жутком кладбище человеческих судеб...

Наконец в стене, противоположной входу, резко отворилась маленькая дверь. На пороге возникли несколько дюжих придурков из «бытовиков» с лоснящимися сытыми мордами... этап притих.

— Раз-де-вайсь!.. — громко скомандовал один из придурков. Воры,

уже однажды побывавшие в этом душечистилице, и кое-кто из «бытовиков», не дожидаясь повторной команды, послушно сбрасывали с себя одежду и голыми выстраивались у открытой двери...

— А вам, фашисты, что, отдельное приглашение нужно? Кому сказано раздеваться?

— Как раздеваться?! Совсем, что ли?..

— А ты что, в штанах в баню ходишь?

— Вещи-то куда девать?

— Все шмотки бросайте здесь.

— Как это бросайте... А если пропадут?

— Не пропадут — мы постережем! Ха-ха!..

Кто-то из образованных этапников некстати вспомнил конституцию:

— Это безобразия... Произвол! Вы не имеете права!

— Я покажу тебе право! — взвился придурок. — В Сандуны, что ли, приехал? Отдельный шкафчик тебе нужен? Забудь Сандуны лет на десять... Бросай, бросай белье, падло...

— Это чистое белье, — упирался этапник.

— Сказано, с собой ничего не брать! А ну, живей проходи. Чего в рот положил, сука? Деньги заключенному иметь при себе не положено! Бросай, тебе говорят!.. — Придурок бесцеремонно изымает изо рта заключенного деньги...

И все же каждый норовил выгадать для своих вещей и денег приметный уголок, схоронку, чтобы потом, после бани, легче было их там найти.

— Надо бы дежурного при вещах оставить, на всякий случай... — неуверенно произнес кто-то из военных.

— Не надо. Здесь все свои — мы постережем! — нагло смеялись придурки.

Они стояли по бокам открытой двери и пропускали в нее каждого, предварительно заставляя разжимать кулаки и открывать рот...

Все, слышанное ранее о магаданской транзитной бане, подтверждалось. Здесь окончательно завершалось превращение человека в животное, в бесправного беспомощного «робота»... Здесь он лишался не только личной одежды (последней вещественной связи с волей). В бане ему предстояло окончательно смыть с себя, похоронить все свое прошлое. Забыть, смириться с обстоятельствами и как бы родиться заново — безликим, послушным начальству колымским зеком...

В следующем помещении человек десять придурков в серых, грязных халатах оболванивали тупыми машинками головы и лобки этапников.

Наспех стриженные, голые люди подходили к очередной двери, где каждому совали в руки по крошечному кусочку мыла...

Основным этапом в этом банном конвейере была сама баня. Здесь каждому из нас предстояло успеть смыть с себя накопившуюся за время трехмесячного пути из Ленинграда грязь... Молодым и здоровым это удавалось. Они ухитрялись, беря пример с блатных, вылить на себя по несколько шаек горячей воды за время мытья... Медлительные и больные довольствовались одной, и то... если успевали, — так как воду выключили вдруг, без всякого предупреждения.

Раздалась команда: «На выход!»...

Открылась очередная дверь, из которой каждому швыряли кальсоны, рубаху и гнали в следующее помещение...

Там ты получал стеганные ватные штаны и гимнастерку... В следующем проеме дверей награждали телогрейкой и кирзовыми рабочими ботинками с суконными портянками... О соответствии размера никто не беспокоился.

И наконец последними, завершающими конвейер одевания были бушлат, вигоневый шарфик, шапка-ушанка (солдатского образца). На этом банная процедура заканчивалась...

Едва обсохнув, придя в себя, зеки начали обживать гулаговские наряды, привыкать к ним... Обмениваться друг с другом, подыскивая подходящий для себя размер... Жизнь продолжалась.

Пути назад, к оставленным на полу личным вещам, не было. За какой-нибудь час дьявольский лабиринт пройденных дверей превратил всех в серую, безликую массу беспомощных колымских зеков... лишил имущества и памяти... памяти о доме, о близких... Сбереженные по-еле бесчисленных шмонов в этапных тюрьмах реликвии — дорогие сердцу каждого письма, фотографии детей, жен, матерей, близких — все исчезло... Пропало. Наиболее ценное окажется потом у начальства и на карточных столах блатных и придурков... Остальное будет выкинуто, безжалостно сожжено.

Бедный Борис Борисович! Только теперь он постиг весь трагикомизм происшедшего... В этом благородном человеке что-то навсегда надломилось... Что-то очень важное, помогающее человеку продолжать бороться за жизнь... Хотеть жить!

У выхода из бани нас ждали грузовые автомашины, уже готовые к погрузке этапа.

Вся наша «сотня» разместилась в четырех автомашинах: по двадцать пять человек в каждом кузове, плюс один конвойный — в отсеке кузова у

кабины, в тулупе и с автоматом... Другой, с документами, — вместе с водителем в кабине.

Нашему этапу крупно повезло. Наслаждались мы колымским пейзажем недолго. Через пару часов всех нас сгрузили в хозяйстве Дукчанского леспромхоза, всего в сорока семи километрах от Магадана.

Правы оказались те, кто предсказывал: «Раз одевают в кирзовые ботинки, далеко в тайгу не повезут...» Логично.

За два года пребывания в лагере Дукчанского леспромхоза я акклиматизировался окончательно. Освоил несколько профессий: лесоруб, грузчик, дорожник, автослесарь, водитель...

Все это время активно и с успехом помогал советской власти превращать лесотундровую Колыму в окончательно безлесную — тундровую.

47-й километр

Ноябрь 1939 года, Колыма. Небольшая лагерная командировка Дукчанского леспромхоза — 47-й километр. Основной комендантский лагерный пункт (ОЛП) находится на 23-м — 6-м километре Магаданской трассы (23 километра по трассе и 6 километров в тайгу). Все начальство, лагерное и производственное, — там; поэтому до поры до времени живем, можно сказать, вольготно. Наш лагерь еще только строится. Работаем бесконвойно. Унижений, связанных с положением и режимом содержания заключенного, почти не испытываем. Валим тайгу.

47-й километр (счет километрам идет от Магадана) существует с начала тридцатых годов. Первыми на нем селились колонисты. Колонисты — репрессированные граждане из различных районов европейской России, в основном крестьяне, которым вместо содержания в лагере под стражей разрешено было селиться на Колыме вольно, строиться, вызывать семьи с «материка», в общем, пускать корни, при одном обязательном условии — корни пускать навечно.

Невдалеке от рубленных на сибирский манер домов колонистов, подальше от трассы и поближе к тайге бойко строился наш лагерь. Уже стояли два-три барака, человек на сто пятьдесят, несколько хозяйственных построек, столовая, на крыльце которой всегда стояли две бочки с соленой горбушей — ешь сколько хочешь, «от пуза»! Меньше чем через год, вспоминая об этом, сами удивлялись: неужели когда-нибудь это было?! Как, впрочем, и многое другое, относящееся к мирным, довоенным дням. Особняком стояли механический цех леспромхоза, гараж и хутор охраны лагеря — вохры. Зоны лагеря не было. Она обозначалась чисто символически — «скворцы» еще не прилетели. «Скворцами» называли вольнонаемную охрану лагерей, в основном вербуемую из демобилизованных из армии солдат, как правило, выходцев с Украины, из Средней Азии и Приуралья, которые с весенней навигацией прибывали с «материка» на Колыму и заселяли построенные для них охранные вышки-«скворечни», установленные по всем четырем углам зоны лагеря.

Вывод бригад на работу и возвращение регистрировались комендантом лагеря. Каждый бригадир отвечал за количество людей, выведенных на работу из лагеря, о чем расписывался в журнале на вахте.

Вахта же являлась и своего рода сигналом времени. Подъем, развод, обед, отбой и другие чрезвычайности вызывались ударами железяки по

куску рельса, подвешенному к листовнице. При «курантах» неизменно состоял полковник, инспектор кавалерии штаба Ленинградского военного округа, кавалер орденов Боевого Красного Знамени, Георгиевский кавалер, один из командиров Дикой дивизии в Гражданскую войну, заключенный Борис Борисович Ибрагимбеков (Ибрагим-Бек). Святой человек! Умер на «инвалидке» 23-го — 6-го километра Магаданской трассы.

Путь на работу к полянкам лежал мимо домов колонистов. Мы всегда норовили держаться поближе к ним. Жалостливые бабы-колонистки, завидя нас, подзывали самых молоденьких, выносили из сеней пригоршни заготовленных на зиму замороженных пельменей и высыпали их в наши закопченные консервные банки-котелки, по-матерински причитая на наш счет.

Вечная и прекрасная черта русских женщин — сердоболие! Слово-то какое удивительное!

Пельмени мы с наслаждением поедали потом в тайге, разогрев на костре во время перерыва. Колыма — лесотундра. Тайга редкая, чахлая. Корни деревьев стелются подо мхом поверху, глубже — вечная мерзлота.

Летом земля оттаивает на 15–20 сантиметров, не больше. Ударь покрепче плечом — и листовница легко падает. Дерево живет недолго. Много сухостоя, особенно на сопках.

Валим тайгу по старинке — топор да пила, техники никакой. Работаем обыкновенной двуручной пилой — «тебе — себе — начальнику»... Норму, хотя она и значительно ниже, чем где-нибудь на «материке», выполнить трудно: лес редкий. Годен разве что на дрова. Листовница мелкая, вымерзшая, больная... Боже мой! Сколько же надо было навалить ее, разделить от сучьев и потаскать на своем горбу в штабеля, чтобы выполнить норму! Пилим двухметровыми. Штабеля ставим от двух «кубиков» и больше. Меньше двух кубометров в замере десятник не примет: чем меньше штабель, тем труднее будет вывозка зимой: лошадь, она тоже не двужильная! Вот и ворочаем дрыном, то кантуя, то таская на себе двухметровые лесины, укладывая их в штабеля покрупнее. Ловчим, конечно, строим «туфтовые» штабеля, а что делать? Летом топтать тайгу в болотной жиже, на комарах, задыхаясь в накомарниках, — это не сахар. Или зимой, в сорока-пятидесятиградусный мороз, по пояс в снегу, в нелепых «куропатках» — обуви из старых автомобильных покрышек, рожденной лагерными «модельерами» в военные годы взамен вышедшим из моды на Колыме уютным и теплым валенкам. Их не хватало в те трудные годы и на фронте.

За два года жизни на 47-м километре освоил несколько профессий. Из

всего лесорубского процесса — повал, разделка и штабелевка — предпочитал штабелевку: меньше болела поясница.

Работал водителем на автомашинах ГАЗ-АА, ЗИС-5 и ЗИС-15 («газген»). Мучился с газогенератором нещадно, пропади он пропадом! Топливо местное — чурка лиственницы. Сырая, некалорийная. Машина не только груз, себя не тянула. Шоферил с перерывами. Начальство за разного рода провинности, действительные и мнимые, часто снимало с машины и наказывало, отправляя либо на лесоповал, либо грузить лес или дрова.

К слову сказать, о начале Великой Отечественной войны и узнал, будучи за баранкой.

В прохладный день 22 июня 1941 года я ехал по трассе с каким-то грузом. На оперпосту 47-го километра остановился перед закрытым шлагбаумом. Стрелок потребовал документы. Я подал ему водительское удостоверение. Поняв, что я заключенный, стрелок распорядился поставить машину в сторону, а мне приказал следовать за ним на оперпост. Там он созвонился по телефону с диспетчером гаража и потребовал прислать вольнонаемного водителя, сославшись на приказ из Магадана. На мой недоуменный вопрос, в чем дело, что случилось, он ответил: война.

Жуткое чувство огромного несчастья, случившегося в мире, полоснуло по сердцу болью и страхом. Итак, война!.. Все-таки — война.

Мировая война, неотвратимо надвигавшаяся последние годы на человечество, началась. Две ненавистные друг другу системы, две идеологии столкнулись наконец в смертельной схватке, в схватке не на жизнь, а на смерть!

Пожар, зажженный Гитлером на западе Европы, неизбежно устремился на восток, пожирая на своем гибельном пути пространства и людей.

Короленко писал: «За Уралом лес рубят, в Сибири щепки летят!» Многие из нас оказались в лагерях беспомощными «щепками» чудовищной политической ситуации, сложившейся в нашей стране, когда в результате преступной деятельности всякой сволочи — карьеристов, параноиков и просто идиотов, прорвавшихся к власти, — миллионы ни в чем не повинных людей, истинно русских, советских граждан, партийных и беспартийных, оказались в тюрьмах и лагерях с позорной биркой изменников Родины, шпионов, диверсантов, террористов и прочих антисоветчиков...

Тогда, несмотря на репрессии, которым нас подвергало Особое совещание НКВД СССР, несмотря на лагерный произвол — предвестник приближающейся войны, в нас жила надежда, что в Москве разберутся, кто

есть кто. И как могло случиться, что через мясорубку тридцать седьмого, тридцать восьмого годов пропустили едва ли не лучшую часть поколения советских, партийных, военных кадров, лучшую часть интеллигенции?!

Поразительно, что эта акция, этот «сенокос» был учинен в канун войны, то есть как раз тогда, когда страна, весь ее народ должен был объединиться в едином союзе, в едином патриотическом монолите против надвигавшегося фашизма.

22 июня 1941 года стало ясно, что государству в течение ближайших лет будет не до нас, не до наших проблем. А это значило, как сказал А. Фадеев в последней фразе романа «Разгром», «надо было жить и исполнять свои обязанности». Время испытаний еще только начиналось... Наверное, отчаянная вера в жизнь и смогла исторгнуть из обиженной души незамысловатые стихи, нацарапанные мною на стене тюремного карцера в ленинградских «Крестах» в 1939 году:

Придет тот час, когда отсюда,
Из этой камеры сырой,
Я выйду, и раскроет всюду
Все двери «цирик» предо мной!
Я возвращусь в тот мир, где прежде
Свободным гражданином был,
Где, преисполненный надежды,
Мечтал, работал и любил!
В тот мир, где юность дней искрилась,
Где славить солнце дал обет,
В тот мир, где вера в справедливость
Была девизом многих лет!

И тот из нас, кто сумел сохранить веру, нашел в себе силы «жить и исполнять свои обязанности», — выжил, кто не сохранил — погиб.

Потому как «деньги потерял — ничего не потерял, здоровье потерял — кое-что потерял, веру потерял — все потерял!».

Поворот судьбы

По центральной трассе — жизненной артерии Колымы, — одолевая перевал за перевалом, ползли в стылое нутро Дальстроя автомашины, набитые заключенными... Свежими жертвами ненасытному Молоху...

Ползли, удаляясь от мягкого климата побережья в тайгу, на промерзшие рудники и прииски — на золото, на касситерит, на гибель...

Ползли день и ночь, по заснеженным дорогам, по наледям несмирившихся рек...

Менялись колымские пейзажи, натужно гудели изношенные двигатели...

Из-под нахлобученных шапок, поверх замотанных тряпками лиц обреченно смотрели в бирюзовое колымское небо заиндевелые глаза с замерзающими каплями слез на ресницах...

В особенно сильные морозы и при длительных переездах через перевалы заключенных накрывали брезентом...

При остановках на ночлег или питание конвоиры открывали борта и вконец окоченевшие зеки, пятерками, как сидели, вываливались из кузова и на карачках ползли хоть в какое-нибудь тепло...

В тот — роковой для меня — день на лагпункте формировался очередной этап в тайгу.

Этапов этих — на прииски, на золото — заключенные боялись панически, смертельно... Мало кто возвращался оттуда живым. Каторжный труд, хроническое недоедание, произвол, цинга, обморожения — вот далеко не полный перечень испытаний, через которые проходил каждый, кому не удалось избежать тайги...

При формировании этапа все виды работ, связанные с выходом за зону лагеря, были запрещены: пока не определится и не уйдет этап, заключенные обязаны находиться в зоне. Там заканчивала работу медкомиссия, в поте лица трудившаяся в поисках полноценной рабочей силы. Ей надлежало наскрести из общего поголовья приморенных зеков лагеря очередных сто человек, пригодных для тяжелых приисковых работ. Сделать это было непросто, потому как всего месяц назад та же комиссия с той же целью уже очистила лагерь от всех, кто хотя бы по внешнему виду, соответствовал понятию пригодного для тяжелых физических работ. Полноценными считались все, у кого в личном деле красовался штампель

«ТФТ» — ТЯЖЕЛЫЙ ФИЗИЧЕСКИЙ ТРУД — формальное свидетельство здоровья. Владельцы этого зловещего тавро подлежали этапу в первую очередь и без всякого дополнительного медосмотра. Не теряющие юмора зеки переиначили «ТФТ» в «ЧТЗ» и на анкетный вопрос о здоровье рапортовали: ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ...

Последняя партия «челябинцев» ушла с предыдущим этапом. Здоровых людей в лагере не осталось, за исключением десятка «неприкасаемых» придурков — истинных хозяев в лагере, не боявшихся никаких этапов.

Во все времена всякое начальство, совершая те или иные правонарушения, искало своим поступкам законное, формальное обоснование — крышу, на всякий случай страхующую от возможной ответственности в будущем. Поэтому и была назначена медперекомиссовка. Ей снова были подвергнуты все заключенные лагеря, независимо от возраста и здоровья. Комиссия, не мудрствуя, действовала по принципу: «На безрыбье и рак — рыба!» Раз здоровых зеков нет, их требуется выдумать!.. Иначе говоря, стали перекрашивать собак — в енотов! Страх за собственную шкуру пересилил «нравственные терзания»: давно были забыты понятия «чистая совесть врача», «клятва Гиппократы»...

В результате перекомиссовки больных и доходяг изрядно поубавилось — одни перешли в разряд выздоравливающих, а те, в свою очередь, волшебным образом выздоровели, и... требуемая сотня «пышущих здоровьем» зеков, свежее-клейменных «ТФТ», была передана конвоем для погрузки в автомашины, давно ждавшие за вахтой лагеря.

Процедура погрузки была отработана годами. Начальник конвоя сверял по формулярам анкетные данные каждого зека:

- Иванов?
- Есть!
- Имя, отчество, статья, срок?
- Петр Иванович, 58.8, 10 лет.
- В машину!

Заключенный, карабкаясь, лез в кузов. Передав формуляр конвоиру, начальник брал следующий.

Таким образом в кузов грузовой автомашины загоняли двадцать пять зеков: по пять человек в ряд, вплотную друг к другу, спинами к кабине...

Следовала команда: «Садись!»

Но сесть, как правило, не удавалось: из-за скученности люди висели друг на друге. Окончательно «растрясались» уже на ходу, в пути... В этом

была и выгода для конвоя: встать самостоятельно никто не мог, если бы даже и захотел.

Каждую машину сопровождали два стрелка. Один — в длинном овечьем тулупе — сидел в выгороженном отсеке кузова, у кабины, другой — с этапными документами — внутри кабины, рядом с водителем.

Когда погрузка заканчивалась и конвой занимал свои места, машина, по команде, выезжала за вахту, а ее место занимала следующая...

И вот подвели последнюю партию зеков.

Из зоны за погрузкой наблюдали человек пятьдесят «счастливиц» — отсеянных комиссией доходяг, откровенно больных и убогих. Они сидели на земле под охраной стрелка и с тревогой ждали, когда наконец этап уйдет и можно будет разойтись по баракам. Это значит: опасность миновала и до следующего приезда медицинской комиссии отправка в тайгу им не грозит.

Почти все этапники уже перекочевали в кузов автомашины. Начальник этапа зачитывал последний формуляр:

— Хайдаров?

— Есть! Усман, 162-я, 5 лет. Гражданин начальник! Сильно живот схватило... разрешите — в уборную?.. Я мигом, не задержу... Разрешите?!

Начальник кивнул конвоиру:

— Отведи засранца — и быстро обратно!

Усман Хайдаров, держась за живот, сопровождаемый стрелком, резво потрусил в уборную...

Через минуту со стороны нужника раздался истошный крик конвоира:

— Ты что, ты что делаешь, сволочь? С ума сошел, что ли?! А ну, вылезай, паразит!.. Товарищ начальник, он в говно залез!

К уборной сбежалось начальство.

В выгребной яме, по уши в дерьме, барахтался Усман Хайдаров, решивший таким оригинальным способом избежать губельного этапа на прииски — во что бы то ни стало остаться в лагере хотя бы до следующей медкомиссии...

— Ну, что будем делать? — обращаясь к лагерному начальству, задал вопрос начальник конвоя, когда Хайдаров был извлечен из нужника. — Решайте быстрее. Мне этап отправлять надо... Этого говнюка я не возьму в таком виде.

— А, ладно! Поезжайте без него, — махнул рукой начальник лагеря

— Как это без него?.. Без него не могу. Я принял сто человек, все сто и обязан доставить до места. Давайте кого-нибудь другого вместо этого.

— Нет другого... Остальные — отсеяны... Не прошли медицинской

комиссии.

— Прости, не прости... Мне плевать на это! Лишь бы по счету сходилось... Давайте любого!

Начальник лагеря подозвал к себе начальника УРЧ.

— Слушай, ступай к отсеву и поищи какого-нибудь контрика — помоложе и поздоровее... И тащи его сюда вместе с формуляром, быстро.

Начальник УРЧ энергично направился к отсеву, прихватив с собой нарядчика.

Приблизившись, скомандовал:

— Всем встать!

Люди поднялись.

С брезгливой миной пройдясь по лицу и фигуре каждого, начальник подошел ко мне:

— По какой причине комиссован?

— Цинга. Вот... зубы шатаются... — я задрал штанину, — язвы на ногах.

— Фамилия, год рождения, статья, срок?

— Жженов Георгий Степанович, 1915 год, ОСО, литер «Ш», пять лет, — ответил я, предчувствуя недоброе.

Он повернулся к нарядчику:

— Ступай за его формуляром... быстро!

И снова ко мне:

— Следуй за мной, шпион! Поедешь в санаторий... цингу лечить. Остальным разойтись по баракам!..

Так я оказался в этапе на Оротуканские прииски, откуда далеко не всем суждено было вернуться живыми.

Убийство

Неделю идет дождь... Идет, не переставая ни на минуту, превратив все вокруг в сплошное месиво раскисшей глины.

И так же, не переставая ни на минуту, работают в забое люди. Все тридцать человек бригады сегодня работают «на урок». «Урок» — единственное приемлемое условие работы, признаваемое блатными. Они ненавидят работать от звонка до звонка — только «на урок». Выполнил заданную порцию работ, и ты свободен — кум королю!.. Если не отпустят в зону сразу, по выполнении «урока», можешь до конца смены кантоваться в забое: лежать, курить, спать, плевать в небо, в общем, делай все, что захочешь...

Поэтому сегодня каждый работал с полной отдачей, на совесть. Работали «на урок» в одних рубашках, а то и вовсе голые по пояс, мокрые... Спешили выполнить и поскорее сняться в лагерь.

Наконец прозвучала долгожданная бригадирская команда: «Перекур!» Люди бросают инструмент и бегут от дождя под защиту натянутого куска брезента, под опрокинутые тачки, кто куда... лишь бы спрятаться...

Был в бригаде маленький смешной человек по кличке Тихарь. Вор. Карманник. Оригинал! Всегда жил по своему внутреннему разумению, не так, как все. Вот и сейчас: все сели отдыхать, а он продолжал работать...

— Тихарь! Почему не отдыхаешь?

— Я потом! — с улыбкой отвечал Тихарь. — Побегая, однако, маленько... У меня свой план! Я его недовыполнил еще.

— Ну, ладно, выполняй, — рассмеялся бригадир.

Когда бригада, кончив курить, снова приступила к работе, Тихарь какое-то время еще побегал с тачкой вместе со всеми, а потом, видно, решив, что свой внутренний план он выполнил, сел и сам отдохнуть... Закурил.

Это не понравилось охраннику, с борта забоя наблюдавшему за бригадой.

— Почему не работаешь? — крикнул он.

— Я курю.

— Давай работай!.. Вся бригада работает.

— Когда бригада отдыхала — я работал, — миролюбиво объяснил ему Тихарь. — А теперь я маленько отдыхаю.

— Ничего не знаю. Все работают, давай и ты работай!

Вмешался бригадир. Заступился за Тихаря:

— Ну, чего привязался к человеку, — уговаривал он охранника. — Твое дело сторожить нас, а между собой мы как-нибудь и сами разберемся.

— А я говорю, пускай работает, — заупрямился охранник.

Тихарь, не обращая на охранника внимания, продолжал курить.

— Ты будешь работать или нет? — Охранник передернул затвор винтовки.

Тихарь медленно повернул к нему голову:

— Да пошел ты...

— Встать! — осатанело заорал охранник. — Марш в забой! Стрелять буду!

И тут Тихаря прорвало. Он психанул. У блатных бывают моменты, когда обида, оскорбленность, отчаяние рвутся наружу и выражаются в диком исступлении. Они делаются невменяемыми, доходят до припадка — бьются головой об стену, режутся... Становятся сумасшедшими, и невозможно тогда понять, что это — показуха (актерство) или настоящее?!

— Стреляй, гад, фашист, кусок, стреляй, падло, сучий потрох, позорник несчастный, дерьмо собачье, ну?! — Тихарь разорвал на себе рубаху. — Ну что, сука позорная, боишься?.. Стреляй, сволочь! — Он пошел грудью на охранника: — Стреляй, тварь трусливая, Гитлера кусок.

Охранник взвизгнул, вскинул винтовку, приложился и почти в упор выстрелил.

Отброшенный выстрелом, Тихарь нелепо задержался всем телом, упал и забился, словно в эпилептическом припадке... Засучил ногами, как заводная игрушка. Конвульсии продолжались долго. В конце концов он затих, оскалившись в сторону убийцы.

Все, что произошло в эти несколько минут, было дико, нелепо, неправдоподобно. Не верилось, что валявшееся на земле тело в арестантских тряпках, измазанное в грязи и крови, всего несколько минут назад двигалось, разговаривало, улыбалось, было живым человеком...

Появилось начальство: начальник лагеря, младший лейтенант, ухарского вида коробейник с казацким чубом из-под фуражки, и оперуполномоченный по прозвищу Ворон. В лагерях Оротукана его знали все.

— Ну, что тут у вас? — Уполномоченный легко спрыгнул в забой, обошел вокруг труп, внимательно осмотрелся. — Что произошло? За что ты его гробанул? — обратился он к охраннику.

Тот судорожно хватал ртом воздух, давился, не в силах произнести ни слова от страха.

— Чего давишься? — Ворон улыбнулся. — Никогда не убивал, что ли? В первый раз? Ну, чего молчишь?

Охранник закивал головой.

— Привыкай! Не к теще в гости приехал.

— Он что... бежать, что ли, собрался? — подсказал стрелку начальник лагеря.

— Он полез на меня... Хотел выскочить из забоя! — обрел наконец дар речи охранник.

— Ладно. Все ясно — продолжай службу! Комендант, оформляй акт на беглеца. — Уполномоченный двинулся прочь из забоя.

И тут произошло то, чего я больше всего боялся с тех пор, как мы очутились на «Верхнем», — Сережа Чаплин не выдержал. Сорвался... Остановить его было уже невозможно — он жег корабли!

Резко оттолкнув меня, как бы давая понять, чтобы я не смел вмешиваться, он вышел вперед.

— Прекратите издеваться! — громко и властно сказал он. — Прекратите беззакония! Мы требуем человеческого обращения!

Опешив от неожиданности, Ворон остановился, соображая, уж не ослышался ли он, обернулся и, как бы носом учуя свою добычу, поманил Сергея к себе:

— Ну-ка, ну-ка, подойдите ближе... Так что вы требуете, повторите...

— Я требую, чтобы вы прекратили издевательства, прекратили произвол! — Сергей был спокоен. — Только что на глазах у всех конвоир застрелил человека — убил ни за что! Убил зверски и бессмысленно! Вот он, убийца! Мы все — свидетели этого преступления. Этого негодяя следует арестовать и судить, дабы неповадно было другим! Вместо этого вы оправдываете его, поощряете безнаказанностью на дальнейший произвол... В лагере во всю свирепствуют цинга, дизентерия. Люди измучены. Вы что, не видите этого? Не видите, в чем мы работаем? У нас черви завелись в одежде, смотрите! — Сергей сунул Ворону под нос свою шапку. Вывернул ее наизнанку: — Смотрите, любуйтесь! Где трактора с продовольствием?! Где обмундирование, где продукты? Утонули на полдороге, в ключе. Вы прозевали время. Занимались не тем, чем надо. Колючую проволоку возили вместо муки! Зима еще только начинается, а лагерь уже нечем кормить!.. Подумайте об этом. Людей постреливать — дело нехитрое, отвечать за них научитесь!

— Хватит. В карцер его! — От удара уполномоченного Сергей упал в грязь.

Поднявшись, выплюнув изо рта кровь, сказал:

— Вот, вот... Только этому вы и научились. Фашисты.
Жить ему оставалось считанные дни.

Саночки

Прииск агонизировал.

Все началось полгода назад, летом, когда «Верхний» еще только организовывался. «Верхним» он назывался потому, что находился в самом дальнем, верхнем конце распадка, между сопками, у самых истоков ключа, по руслу которого проходил единственный транспортный путь.

Из Магадана грузы шли по центральной трассе — главной жизненной артерии Колымы — до поселка Оротукан; затем по круглогодично действующей дороге на нижний участок прииска — «17-й», расположенный в долине, на выходе из распадка, у подножия сопки; здесь дорога кончалась. Дальше десять километров в сопки — только пешком или тракторами в сухое время года по высохшему каменистому руслу ключа до «Верхнего».

На прииске добывали касситерит — оловянный камень. Главный рудный минерал для получения олова.

Шла война. Касситерит был необходим военной промышленности страны. Его добыче на рудниках и приисках Дальстроя придавалось огромное значение — не меньшее, чем добыче золота.

Выполнение плана было равносильно выполнению воинского приказа. Никакие объективные причины срыва в расчет не принимались. С приискового начальства спрашивалось жестко и строго. Оно обязано было отчитываться перед Магаданом ежедневно. В свою очередь, и начальство не давало поблажек своим подчиненным на прииске...

Из Магадана на «Верхний» было заброшено несколько этапов с заключенными.

Едва разместив людей в наскоро сколоченных бараках и палатках, начальство уже на следующий день по прибытии этапа выгнало всех в забой на работу.

Июль стоял на редкость сухой и жаркий.

Производственное начальство прииска, используя благоприятную погоду, усиленно завозило с «17-го» различное оборудование и механизмы. Трактора с груженными волокушами беспрерывно подвозили все новые и новые грузы...

Лагерное начальство, вместо того чтобы подготовить к холодам бараки, своевременно, посуху обеспечить лагерь необходимым на зиму продовольствием и теплой одеждой, занималось созданием уютных

условий жизни для охраны и «проблемой» колючей проволоки для ограждения зоны.

Вся техника — трактора и остальной транспорт — дымила в небо соляркой, подвозя стройматериалы для изб охраны и сторожевых вышек («скворечен»), возводимых по всем четырем углам зоны лагеря.

Сама вахта с новыми, пахнущими живой лиственницей воротами была уже гостеприимно распахнута.

Над воротами — во всю ширь, от столба к столбу — сияла фанерная «радуга», задрапированная присобаченным к ней кумачовым транспарантом: «Труд в СССР есть дело чести, славы, доблести и геройства!»

Однажды уставшее за день солнышко, весь месяц ласково светившее работающим людям, скрашивая их тяжелый подневольный труд, свалилось на закате в огромную лиловую тучу.

Утром, после душной ночи, когда бригады, выстроенные на развод у вахты, разбирал конвой, с серого, как портянка, низкого неба упали первые редкие капли... Погода явно менялась. Пошел дождь, монотонно барабаня по брезентовым спинам конвоя и пузырясь в образовавшихся на дороге лужах.

Когда бригады дотянулись до забоя и начали нагружать скальной породой тачки и отгонять их в приемные бункера приборов, с неба уже вовсю лились «библейские» потоки...

Поплыли по намокшей подошве забоя деревянные трапы... Ноги с налипшей на них глиной делались стопудовыми, скользили и разъезжались... Грузенные тачки заваливались с трапов в грязь, глина липла к лопатам, не вываливалась из тачек... Нечеловеческие усилия требовались, чтобы удержать опрокинутую грузеную тачку и не дать ей свалиться в бункер вместе с породой...

Вымокшие, с ног до головы измазанные в глине люди из последних сил терпели, ожидая минуты, когда конвой поведет их наконец в лагерь, где можно хоть на короткое время укрыться от дождя, обсохнуть и проглотить свой обед...

Но накормить в этот день людей не удалось: залило дождем обеденные котлы, чадили и не разгорались плиты, внутри наспех сооруженной кухни лило как из ведра...

Здоровьем заключенных расплачивалось начальство за собственное легкомыслие.

Потекли и крыши бараков. Намокли постели. Дневальные круглые сутки шуровали печи. В не просыхавших за ночь «шмотках» — матрацах и

подушках, в одежде, развешанной на просушку вокруг раскаленных докрасна бочек из-под солидола, превращенных в печи, завелись белые помойные черви...

Как и всегда, беда не приходит одна!.. После непрерывного, в течение шести суток, летнего проливного дождя, во время которого работы в забоях не прекращались ни на минуту, вдруг ударили морозы — не заморозки, настоящие морозы с температурой минус 20–25 градусов!

Полуголодные, измученные, больные люди натягивали на себя влажное, дымящееся от пара тряпье — оно мгновенно дубело, становилось колом на морозе — и брели в этом задубевшем панцире в забои отрывать тачки, кайла, лопаты и прочий нехитрый инструмент забойщика, намертво вмерзший в землю.

Самое выносливое существо на свете — человек!

Чего только ему не приходилось преодолевать: голод, холод, болезни, одиночество!.. Зверь гибнет — человек живет! Особенно русский человек!.. Какие только испытания на прочность не выпадали на долю русского человека! Рабство, нашествия, стихийные бедствия, эпидемии, войны... В руках каких только политических авантюристов не побывал русский человек! Вся история народа российского есть бесконечная борьба за жизнь, за выживание.

Какое-то проклятье нависло и над «Верхним».

Едва только люди свыклись с неожиданными морозами и у них затеплилась надежда — с «17-го» вышли два трактора с грузом продовольствия и зимних теплых вещей для лагеря, — погода преподнесла еще один сюрприз — налетела пурга!

Налетела внезапно, мгновенно смешав небо с землей.

Шквальный ветер с ураганной скоростью гонял по промерзшей земле сотни тонн колючего, жалящего снега, от которого не было спасения нигде. Снежная круговерть, хозяйничавшая несколько дней, завалила двухметровыми сугробами все забои и все подходы к ним...

Оказалась забитой снегом и единственная дорога по ключу, откуда шли трактора с продовольствием и обмундированием на помощь попавшим в беду людям.

Каравану не повезло. Он был застигнут в пути ураганной пургой и безнадежно застрял в вымерзшем ключе. Что было полегче (в основном обмундирование), пурга разметала по распадку в разные стороны, все остальное вместе с тракторами и санями с продовольствием похоронила в наметенных завалах твердого, как камень, спрессованного снега, превратив до весны в часть колымского пейзажа.

Когда пурга стихла, была предпринята попытка сбросить продовольствие с самолета, но и она окончилась неудачей: то ли из-за ошибки летчика, то ли из-за плохой видимости груз упал в нескольких километрах от лагеря в сопки. Лишь незначительная его часть угодила на территорию прииска.

Транспортная связь с внешним миром прекратилась. Положение на «Верхнем» становилось все более отчаянным.

Кончались продукты. Уже несколько дней в обеденные котлы бросали для навары пустые мешки из-под муки, чтобы хоть как-то замутить воду и создать иллюзию съедобности. Как ни экономило начальство, сколько ни растягивало остатки муки, сокращая суточную выдачу хлеба до блокадной ленинградской нормы, настал день, когда мука на складе кончилась совсем.

Голод все больше и больше давал о себе знать. Его уже чувствовали не только заключенные. Охрана и вольнонаемные работники также подтянули пояса и сели на непривычный для себя полуголодный паек. Правда, как только стихла пурга, они протоптали пешую тропинку на «17-й» и, благо сил хватало, носили на себе или возили на санках необходимые продукты. Во всяком случае, голодная смерть им не грозила.

Хуже пришлось заключенным. В лагере уже всю свирепствовали цинга и дизентерия... Так же, как кварц является спутником золота, так и эти болезни являются постоянными спутниками голода.

Невероятно исхудавшие или, наоборот, распухшие от цинги, пораженные фурункулезом люди жалкими кучками лепились к стенам лагерной кухни, заглядывали в щели и лихорадочными, воспаленными глазами сумасшедших следили за приготовлением пищи...

Тут же, на этом «толчке», заключались самые невероятные сделки: черпак завтрашней баланды или завтрашний кусок хлеба выменивались на сегодняшнюю очередь за обедом либо на сегодняшнее теплое место у печи в бараке... Чудом сохраненный окурок менялся на пайку хлеба или, наоборот, — пайка на окурок... Продавалась очередь за пищей только что умершего, но еще не списанного с довольствия товарища... Все завтрашнее не котировалось — в цене было только сегодняшнее.

В промерзших бараках, на уцелевших «островках» нар валялись, тесно прижавшись друг к другу от холода, больные голодные люди.

Каждое утро на нарах оставалось несколько умерших («давших дуба») заключенных. Их скрюченные, застывшие тела в примерзших к изголовью шапках стаскивали с нар, волоком тащили за зону лагеря и где-нибудь подальше от людских глаз прикапывали до весны в снег. Кайлить, «выгрызать» могилы в вечной мерзлоте не было сил. Мертвые сраму не

имут, подождут, не обидятся, им не к спеху!

Доски и жерди с освободившихся нар тут же шли в печь. Карабкаться за сухостоем на склоны сопки по уши в снегу посильно здоровому человеку, а их в лагере оставались единицы.

С каждым днем все меньше и меньше способных передвигать ноги заключенных выходило утром на развод к вахте.

Голодный, злой конвой вел их за перевал в сопки на поиски упавших с самолета продуктов. На выходе из поселка, проходя мимо механического цеха, где под навесом стояли железные бочки с техническим солидолом для смазки тракторов и прочей техники, наиболее слабые, потерявшие над собой контроль заключенные набрасывались на солидол и, судорожно давясь, запихивали его в рот, стараясь скорее проглотить, пока конвой или бригадир не отгонит их.

Цинга отняла у людей и последнюю волю, валила с ног. Человеком овладевала апатия, безразличие ко всему, покорность судьбе... Приближающаяся смерть уже не пугала, а скорее была желанной. В эту зиму она стала привычным, не вызывающим никаких сострадательных эмоций явлением. Из семисот с лишним человек, населявших лагерь, перезимовала только половина.

По весне из-под стаявшего снега торчали конечности человеческих тел, как бы с мольбой взывая к живым о захоронении по-христиански, в землю. С теплом это и делалось. Заключенные хоронили из милосердия, начальство — по обязанности, из соображений санитарии.

Снег начался к вечеру и падал всю ночь, оттепельный, набухший, тяжелыми хлопьями ложась на обезображенную землю. Нагое тело мерзлой земли, истерзанное массовыми взрывами, исцарапанное когтями экскаваторных ковшей, вдоль и поперек перелопаченное в поисках золота и касситерита, окуталось за ночь саваном чистого нехоженого снега...

К утру потянуло на мороз... Вызвездило небо. Весь распадок между сопками являл, насколько хватало глаз, царство вечного девственного снега...

Разбросанные по забоям темные силуэты занесенных снегом экскаваторов с вытянутыми в небо хоботами напоминали останки давно вымерших доисторических чудовищ...

Ни зверь, ни человек, казалось, никогда не ступали здесь... И только ночью, как бы подчеркивая космическую звенящую тишину ледяного безмолвия, было слышно упругое характерное «бык-пык-бык-пык-бык-пык...» двухтактной «Червонки», выдававшей лагерю тусклый

электрический свет, да изредка карканье огромной вещицы птицы — колымского ворона, не к добру зачистившего в эти края...

Но и эти звуки смолкали, едва начинало брезжить на востоке.

Придет или нет? Я неотрывно всматривался в занесенную снегом, пустынную в свете луны тропинку, протоптанную от бани в сторону вольного поселка. От напряжения и мороза слезились глаза. Отдаваясь тупой болью в висках, где-то под самым горлом нехорошо билось сердце...

Неужели не придет? Петляя по пологому склону сопки, тропинка убегала вверх к линии горизонта и исчезала там, растворяясь во мгле предутренних сумерек... Никого!

Неужели обманет? Вчера вечером, уходя из бани распаренный и довольный, он пристально оглядел меня с ног до головы и, как бы окончательно решившись на что-то, ему одному ведомое, с усмешкой бросил:

— Ладно. Рано утром зайду за тобой! Жди.

И вот я жду.

Жду, как подсудимый ждет минуты вынесения приговора...

Жду, понимая, что другого выхода у меня нет и не будет никогда.

Вчера судьба неожиданно подарила мне последний шанс. Я обязан воспользоваться им, пока еще на ногах, пока цинга не отняла остаток моей воли окончательно.

Хватит ли у меня сил — стараюсь не думать сейчас. Этот вопрос еще встанет передо мной во всей своей беспощадной яви позже, когда он придет... если, конечно, он придет.

Хватит ли сил?.. Может, и не хватит... Скорее всего, не хватит, как не хватило их в прошлый раз, когда я наконец собрался с духом и рискнул пойти.

Тогда, пять дней назад, я переоценил свои возможности, не рассчитал сил. Их оказалось меньше, чем я предполагал. Я посчитал, что меня хватит если не на все двадцать километров пути туда и обратно, то уж, во всяком случае, на половину — до «17-го».

«Лишь бы добраться до него, — думал я тогда. — Обрато идти будет легче...»

«17-й» являлся тем заколдованным местом, к которому, подобно Иванушке из русской сказки, я стремился во что бы то ни стало, через все испытания и преграды, — там ждала меня жизнь!.. Туда пришли две посылки, посланные мне матерью из Ленинграда в 1940 году.

Жизнь, искавшая меня в течение трех лет по разным лагерям Колымы и нашедшая в самый критический момент, когда я, голодный, потерявший

всякую надежду, медленно умирал от цинги где-то в Богом проклятом месте, у черта на куличках, в заледенелом распадке оротуканских сопок...

Что это? Стечение обстоятельств? Перст Божий, сотворивший чудо? Телепатия? Может быть, и так, конечно, но скорее всего — никакое это не чудо, а просто вещее сердце матери с его никогда не умирающей верой и надеждой!

О посылках я узнал в один из банных для «вольняшек» дней, когда начальник лагеря зашел в баню попариться с мороза.

— Все еще живой, артист?! — удивился он, увидев меня на обычном месте за горящим бойлером. — Долгожитель!.. Хочешь — обрадую? Посылки пришли тебе из Ленинграда.

Новость была настолько невероятна, что я никак не отреагировал.

— Чего не радуешься?

Мое молчание его озадачило. Зная, как быстро начальство меняет милость на гнев, я решил не испытывать судьбу по пустякам.

— А это правда? — сказал я. — Где они?

— На «17-м», где же еще!

— Так пошлите за ними кого-нибудь, гражданин начальник!

Он рассмеялся:

— Кого я пошлю? Хочешь жить — сам сходишь.

— Мне не дойти. Вы же сами видите, в каком я состоянии...

— А у меня весь лагерь в таком состоянии, — еще пуще развеселился он. — Вот так-то, артист! Десять километров всего — и ты живой, думай!.. Сходить на «17-й» я разрешаю тебе.

Когда начальник ушел, мне стало страшно. Я понял, что он не шутил, — посылки существовали. Но, к сожалению, пришли они слишком поздно — они опоздали. Про меня, уже не стесняясь, говорили: «Этот — местный!»

Честно говоря, признаки близкого «финиша» я и сам чувствовал — мне было безразлично все! Моя песня на этом свете была спета!

Такое состояние испытывает замерзающий, когда физическая боль ушла, покинула тело и человеку стало вдруг неожиданно легко... Лишь бы не тревожили его, не мучили, а оставили бы навсегда в покое...

И вот это смирение перед неизбежностью, в котором я находился и из которого, казалось, ничто уже не могло меня вывести, разлетелось вдребезги. От покоя не осталось и следа.

Сообщение о посылках, ждущих меня всего в десяти километрах, занозой вошло в заторможенное цингой сознание, бередя его, рождая непонятное беспокойство, лихорадочную необходимость сосредоточиться

на чем-то ускользающем и действовать, действовать... Я почти перестал спать. Меня мучили видения... Огонек надежды лампадным язычком затеплился во мне и, постепенно разгораясь все ярче и ярче, ширился, растворяя десятикилометровую толщу мрака, которую мне предстояло преодолеть... Там, далеко, на выходе из этого бесконечного мрака, чудились мне луковые и чесночные заросли, меня ждали горы колбасы, сыра, масла... запах хлеба, табака... Я стал галлюцинировать.

Понимая, что шансов добраться до посылок с каждым днем становится меньше и меньше, что надо торопиться, и в то же время сознавая, что сил мало, в последующие несколько дней старался всячески экономить их. Пообещав банщику поделиться содержимым будущих посылок, уговорил освободить меня от заготовки дров и стирки белья. Правдами и неправдами добывал лишний черпак баланды, выторговывал на «толчке» драгоценный кусок хлеба, старался меньше двигаться...

И наконец решился.

В этот день ночевать в зону не пошел — остался в бане, благо разрешил начальник. Последние часы перед выходом хотелось побыть в тепле, еще раз обмозговать все, проверить...

Всего два года назад расстояние в десять километров было сущим пустяком, не стоило и разговора. Находясь в Дукчанском леспромхозе, регулярно, два раза на дню, в течение всей зимы совершал эту «прогулку»: утром — в тайгу на трелевку леса, вечером — домой, в лагерь. Но тогда я был здоров. Теперь голод и цинга, настигшие меня, сделали эти километры недостижимыми.

Плохо было с одеждой, особенно тревожила обувь. Лапти или резиновые забойные калоши — другого выбора не было. О валенках и не мечтали; не у всех «вольняшек» они были. Идти в калошах — заведомое самоубийство: не убережешь ноги, поморозишь. В лаптях легче и теплее, лишь бы портянок побольше...

Лыковые «берендеевы» лапти!.. Вам памятник на Колыме полагается! Скольким заключенным спасли вы ноги в горестные зимы военных лет!

Выйти задумал до рассвета. Банщика Липкарта решил не будить, не хотел лишний раз видеть перед дорогой его морду со скептической гримасой неверия в мои силы.

Мы не любили его. Не знаю, как и за что попал он в лагерь, но его одинаково ненавидели и зеки, и вольные. Причиной тому были не только его личные качества. Гремела Великая Отечественная: шел 1942 год... Немецкий фашизм еще продолжал свое победное шествие по Европе. Трагедия большинства из нас — безвинных «контриков» — находилась в

прямой зависимости от мировой политической ситуации, не говоря уже о делах «семейных», внутренних. В те годы само слово «немец» было ненавистно.

Известные советские поэты и писатели призывали: «Убей немца!» Со сцен театров, с экранов кино, из фронтowych и тыловых репродукторов звучал гневный набатный клич, усиленный за душу хватающей музыкой: «Сколько раз увидишь его, столько раз его и убей!» Мы же не только каждый день видели нашего немца, но и на собственной шкуре испытали прелесть его натуры: расчетливую, бездушную требовательность к подчиненным, дисциплинированность перед силой власти!.. Любой власти! Для нас он был не просто немец, но и — немец-начальник, немец-погоняла.
...Ушел я из бани незаметно, тихо.

Когда мехцех — последнее приисковое строение — остался за спиной, я послал прощальный взгляд лагерю и медленно побрел по лунной дорожке, напоминавшей серебряную ленту фольги, размотанную по голубому безбрежью снега, навстречу восходу солнца, в сторону заповедного «17-го»... Вскоре начали слипаться, намерзать ресницы. Сплюнул — слюна на лету превратилась в ледышку: первый признак, что мороз за сорок... Не заметил, как прихватило лоб, щеки.

Все годы пребывания на Колыме больше всего боялся обморозить лицо, поэтому часто щупал его на морозе, проверял чувствительность, берёг... Актер без лица — не актер! И в прямом, и в переносном смысле. Свято помнил это, верил: если суждено остаться в живых, мое лицо мне понадобится. Вот и сейчас, как только почувствовал, что деревенеют щеки, вытянул из-под воротника бушлата обрывок байкового одеяла, заменявшего шарф, обмотал им лицо, оставил снаружи только глаза. Пока растирал щеки, пока заматывался и прятал руки в варежки, онемели пальцы...

Мелькнула мысль: «Зря вышел в такой мороз — не дойду!» В памяти возникли герои книг Джека Лондона: мужественные, сильные, выносливые мужчины, неизменно выходившие победителями из любых, самых жестоких схваток с Севером, если только в их души в критический момент не заползало сомнение. В таких случаях сомнение будило воображение, воображение рождало страх — в результате страх разъедал, парализовывал волю человека.

Надо было идти быстрее, чтобы согреться, но не слушались, не шли распухшие, ватные ноги... Несколько раз отступался, падал... поднимался... Продолжал идти через силу, в надежде, что вот-вот появится второе дыхание, станет легче. Одышка заставила смириться — явно не срабатывало, не справлялось перетруженное сердце. Когда в очередной раз

споткнулся и упал, окончательно понял: придется отдыхать — идти дальше нет сил.

Так и остался сидеть на дороге.

Нежный, хрустальный звон стоял в ушах — утренняя поземка играла стеклянными иглами изморози, катая их по ледяному насту. Казалось, звучит светлая, как детский хор, весенняя музыка.

Когда немного восстановилось дыхание и унялось сердце, собрался с мыслями, пытаюсь определить, где нахожусь и долго ли шел. Прислушался, в надежде поймать знакомое бормотание поселковой «Червонки». Обычно ее хорошо было слышно за несколько километров. Сейчас, кроме звенящей тишины в ушах и собственного свистящего дыхания, ничего не услышал — «Червонка» молчала. Значит, время уже перевалило за семь часов утра.

Светало... По знакомым очертаниям ближних сопкок выходило, что отошел от поселка всего-навсего километр-полтора, не больше. Через силу поднялся. Поплелся дальше. Ветер дул навстречу. Одолевал холод. Не было ни одной клеточки тела, которая не страдала бы... Малейшее движение вызывало озноб, приносило мучение. Хотелось съежиться, оцепенеть, забыться... Но всякий раз кто-то во мне наперекор моей слабости упрямо твердил: вставай, иди, двигайся, двигайся... в этом твое спасение.

По опыту предыдущих зим знал: нет злейшего врага для человека, идущего или работающего на большом морозе, чем жаркий костер и частый «перекур», — только работа и движение, движение. Без конца движение, иначе конец!

Итак, все мои заочные банные расчеты за теплым бойлером полетели к чертям, если за два с лишним часа пути мне удалось одолеть всего километр с небольшим. Сколько же потребуется времени на весь путь? Ответ не оставлял никаких надежд. Получалось, что идти придется сутки — не меньше. Ни физических сил, ни иной энергии преодолеть это расстояние во мне не было.

Что же делать? Идти или возвращаться? Похоже, что любое мое решение уже ничего не меняло. Пойду ли я вперед или возвращусь, безразлично — конец один. Еще час-другой, и я или замерзну на тропинке, или окажусь в той точке, откуда возвращение назад станет так же невозможно, как и путь вперед. С каждым моим шагом вперед уменьшалась вероятность возвращения

Да и куда возвращаться? В лагерь? Зачем? Чтобы медленно умереть там? Ведь предчувствие близкого конца и погнало меня, больного, из лагеря в дорогу...

Мозг мой мучительно перебаривал весь этот хаос лихорадочных

мыслей и наконец выбросил единственный, безжалостный в создавшейся ситуации ответ: «Возвращайся».

Какое-то время я еще продолжал автоматически переставлять ноги, двигаясь, как автомобиль с выключенной скоростью, потом остановился, медленно повернулся спиной к ледяному ветру и поплелся, спотыкаясь, обратно.

Ни отчаяния, ни жалости к себе я не чувствовал. Скорее наоборот: сознание принятого решения и ветер, от которого наконец нашел спасение, подставив ему спину, принесли облегчение.

Отчаяние настигло поздно ночью, когда я, насквозь промерзший и обессиленный, перевалил через порог остывшей бани, ткнулся на свое обычное место между теплым бойлером и стеной и завыл, как собака, почуявшая покойника.

Прошло три дня. И вот снова начальник лагеря вызвал банщика и приказал топить баню.

Целый день несколько слабосильных зеков скребли, чистили, мыли полы и лавки в парной, грели воду и топили бойлер. Две сорокаведерные деревянные бочки, заменявшие ванны, были наполнены горячей водой. Втайне от банщика мы исполнили традиционный «ритуал» — помочились в обе бочки, выражая тем самым нашу пламенную любовь к начальству, умудрившемуся за несколько зимних месяцев отправить на тот свет половину вверенных им заключенных.

К вечеру в бане было тепло и чисто.

Начальник лагеря привел с собой оперуполномоченного прииска. Это был высокий худощавый офицер (лейтенант МГБ) с внимательным взглядом темных недоброжелательных глаз. На приисках Оротукана этого человека звали Ворон.

Чем-то он действительно напоминал эту зловещую птицу: блестящая шевелюра иссиня-черных прямых волос, явное пристрастие к черному цвету в одежде лишней раз подчеркивали сходство с элегантной, красивой Божьей тварью... Правда, кличка Ворон прилипла к нему не столько за внешнее сходство, сколько за ту недобрую молву, мрачным шлейфом ходившую за ним по жизни, где бы они оба ни появлялись — ворон и человек. А появлялся он всегда, когда случалось что-нибудь чрезвычайное. Появлялся налетом, неожиданно. Его не любили и боялись.

И исчезал он так же внезапно, как и появлялся. Случалось, вместе с его исчезновением и в лагере становилось на несколько человек меньше...

Родные этих несчастных потом долго и безуспешно разыскивали

пропавших. В те годы горемык было столько, что Управление северовосточных исправительно-трудовых лагерей (УСВИТЛ) не успевало отвечать на настойчивые запросы родственников. Окончательно запутавшись в местонахождении своих «подопечных», начальство управления лагерей или молчало, или отвечало стереотипной фразой: «В списках живых не значится», что не всегда соответствовало истине.

Выполнение плана было главным мерилom в оценке действий начальства. Борьба за план любыми средствами! Не считаясь ни с какими человеческими жертвами — людей хватит! Не хватит — привезут! Особенно «врагов народа»... Колыма этим «товаром» снабжалась последние годы регулярно и без ограничений — к этому привыкли все.

Еще только брезжили времена перемен, когда станет ясно, что с оптовым расходом людей переусердствовано; и тогда с начальства за допущенный произвол, приводящий к массовым обморожениям, увечьям, к бессмысленной гибели людей в лагерях, будут срывать погоны и привлекать к уголовной ответственности.

Эти времена только грядут, а пока по-прежнему из бухты Находка с началом очередной навигации отваливали корабли с набитыми в трюмы зеками и, подобно косякам нерестящейся горбуши, шли курсом на север — в места обжитых «нерестилиц»: в бухты Нагаево, Певек, Пестрая Дрясва на Чукотке и прочие, где и «выметывали» в лагеря десятки тысяч свежих жертв ненасытному Молоху...

Жестоко, когда политические заключенные содержатся в лагерях вместе с уголовными преступниками, и по-настоящему трагично, когда этими политическими преступниками оказываются в подавляющем большинстве нормальные, честные люди. Никакие не преступники, а жертвы! Жертвы пресловутого «культа личности» (так «интеллигентно» преподнесено истории время чудовищной тирании и издевательства над миллионами людей).

Жизнь политических заключенных в таких совместных лагерях ох как нелегка!..

Помимо прямого произвола лагерного начальства, весь ужас жизни в совместных лагерях усугублялся еще и тем, что все сколько-нибудь ответственные командные места и должности занимали, как правило, уголовные преступники: авантюристы, аферисты, растратчики, взяточники, грабители, воры, нравственные подонки и прочая нечисть... Это они считались «друзьями народа», заслуживающими чуткого, бережного к себе внимания как люди, по ошибке и недоразумению споткнувшиеся об Уголовный кодекс!..

Тогда как ни в чем не повинные перед законом несчастные люди, в основной своей массе не пропущенные даже через «Шемякины суды» того времени, а репрессированные заочно Особым совещанием НКВД СССР (органом, никогда не существовавшим в советской Конституции), назывались «врагами народа»!.. На их долю в лагерях приходился тяжелый физический труд (ТФТ) и общие, подконвойные работы.

Жизнь такого лагеря была цепью непрерывных чрезвычайных событий: травмы, обморожения, увечья, отказы от работ, саморубство, сопротивление приказам, побег и попытки к бегству, бандитизм, убийства, самоубийства, воровство, грабежи и т. д., и т. п.

Все это, как и многое другое, являлось сферой деятельности оперуполномоченного.

В его обязанности входило про всех все знать. Искать криминал. Находить виновных. Наказывать, искоренять, орать... В те недоброй памяти колымские годы глаголы эти были в большой моде.

Оперуполномоченный имел среди заключенных своих информаторов и «сексотов». Они снабжали его сведениями и о своих же товарищах. Информацией, угодной уполномоченному, данной не по долгу совести, а из страха. Кто станет сотрудничать с уполномоченным по доброй воле? Только слабые или подлые люди, заклеянные презрительной кличкой «стукач».

Лагерь не место соблюдения законности и порядка. Установлением истины заниматься там некому. Страдали и правые, и виноватые. Кто меньше, кто больше, кому как повезет и как взглянется уполномоченному. Одни отделялись карцером, на других заводили уголовные дела. Нередко — по статье за контрреволюционный саботаж (статья, применяемая за проступки, повлекшие за собой потерю трудоспособности, пусть даже временную). Подсудным всегда оказывался пострадавший.

Суровое наказание следовало за обнаруженное в зоне лагеря печатное слово — книгу или (не дай бог!) газету. В этих случаях «виновный», особенно если он сидел по политической статье, исчезал с концами.

С весны 1943 года на «пяточке» каждого колымского лагеря, где проходили утренние разводы и вечерние поверки, в обязательном порядке начальству вменялось в обязанность вывешивать на специальных стендах для прочтения заключенными все центральные газеты страны.

Менялось время. Менялась цена человеческой жизни. Эхо победной битвы за Москву и под Сталинградом докатилось наконец и до Колымы.

Начальство явилось навеселе. Оба оживленные и разговорчивые.

Вокруг них всюду «шестерил» Липкерт. Услужливо помогал раздеваться, расстилал под ноги простыни, суетился... Увидев меня у бойлера, начальник изобразил на лице радость:

— С возвращением, артист! Как жизнь молодая? — Слово «артист» ему явно нравилось. В его представлении я был чем-то вроде клоуна. — Подвел ты меня, артист, ох, как подвел! Я, можно сказать, поставил на тебя... побился об заклад с лейтенантом, а ты взял и обманул меня... Нехорошо! Я говорю ему, — он показал рукой на уполномоченного, — пойми, говорю, у него нет другого выхода, он должен прийти! Иначе подохнет здесь — он это понимает! Это я про тебя... а он мне свое: «Один не придет — замерзнет!» Плохо, говорю, ты знаешь артистов! Они народ особенный, двуличный! Так что случилось? Почему вернулся?

Я молчал. Уполномоченный с иронической улыбкой внимательно смотрел на меня. «Оставили бы вы меня в покое, — думал я. — Ну чего привязались?»

— В чем дело, артист? — начальник повысил голос. — Ты меня слышишь?

Я утвердительно кивнул головой.

— Отвечай как полагается, когда тебя гражданин начальник спрашивает, — накинулся на меня Липкерт. — Почему вернулся с полдороги?

«И этот все еще не может смириться с потерей обещанной ему доли в посылках», — подумал я...

— Почему? — не отставал начальник. — Силенок, что ли, не хватило, да? Испугался замерзнуть?

Не глядя на него, я молча кивнул.

— Забрали бы вы его от меня, гражданин начальник, видите, он уже «фитилит»! — услышал я голос Липкерта.

И как я ни крепился, слезы все больше и больше застилали глаза. Я низко опустил голову, пытаюсь сдержать их, не смог и впервые после возвращения беззвучно заплакал.

— Ну все — местный! — махнул на меня рукой начальник, давая понять, что сеанс общения закончен, отвернулся и, стянув с себя нижнее белье, с веселыми охами и ахами полез в бочку с горячей водой. Его примеру последовал и уполномоченный.

...Они веселились, поочередно бегали в парную, с хохотом обливали друг друга ледяной водой, «травили» анекдоты, с наслаждением пофыркивали в своих бочках, обсуждая предстоящие дела...

...Я тихо скулил в своем углу, обняв теплый бойлер, следить за

которым, судя по всему, была моя последняя обязанность на этом свете.

Из обрывков их разговоров, долетавших до меня, я понял, что утром уполномоченный отбывает в Оротукан, в управление.

Я и теперь не могу объяснить свое поведение в тот момент — фантастическая мысль зародилась у меня в мозгу: «А что, если попроситься вместе с ним? Ведь путь его обязательно будет проходить через «17-й», другой дороги не существует?!»

Я понимал всю безнадежность моей мысли, понимал, что своей фантастической просьбой вызову лишь презрительную усмешку, и все же с непонятной самому себе решимостью, решимостью отчаяния, что ли, выбрал момент, когда они, надев полушубки, докуривали послебанные сигарки, подошел к уполномоченному и, глядя ему прямо в глаза, тихо сказал:

— Гражданин начальник! Возьмите меня с собой до «17-го».

Он появился, как и обещал вчера, перед самым рассветом с последними тактами «Червонки», когда над вахтой лагеря медленно угас электрический фонарь.

Легко подпрыгивая на неровностях тропинки, за ним бежали детские саночки, то обгоняя хозяина, то, наоборот, застревая в наметенном снегу... Он легко дергал за веревку, привязанную к санкам, и те опять весело устремлялись под горку... На санках лежал маленький чемодан — обычный дерматиновый чемоданчик; в городах с такими ходят в баню или носят в них завтрак на службу.

«Зачем ему санки? — подумал я. — Такой чемоданчик проще нести в руках...»

Был он в форме.

Поскрипывали по утреннему морозу фетровые, с отворотами, светлые бурки... Распахнутый, подогнанный по фигуре черный полушубок ладно сидел на нем — видно, лагерный портной очень старался угодить. Оперуполномоченный был крут. Вызвать его неудовольствие или гнев считалось рискованным — за это можно было поплатиться добавкой к сроку, а то и жизнью.

Я думал: «В каких закоулках человеческой души или сознания добро научилось уживаться со злом, милосердие с жестокостью? Все слилось воедино, все перемешалось... Иначе какими доводами разума можно объяснить, сопоставить вчерашний поступок уполномоченного с его же поступком пол года назад?..»

...Тогда, во время вечерней поверки, из строя заключенных

неожиданно вышел высокий человек и, глядя в упор на уполномоченного, заявил протест против бесчеловечного обращения с людьми, против издевательства, жестокости и произвола, творимого лагерным начальством.

Такое, конечно, не прощалось. Ночь он просидел в карцере. А утром уполномоченный, сидя верхом на лошади и исступленно размахивая нагайкой, на глазах у всего лагеря угонял непокорного в следственный изолятор «17-го»...

С советским разведчиком Сережей Чаплиным мы были сокамерниками в ленинградских «Крестах», товарищами по этапу на Колыму, напарниками на таежных делянках Дукчанского леспромхоза, где два года кряду выводили двуручной пилой один и тот же мотив: «тебе-себе-начальнику...»

Когда началась война и нас этапировали в тайгу на прииски, мы поклялись друг другу: тот из нас, кто уцелеет во всем этом бардаке и кто вернется домой, должен разыскать родственников другого и рассказать им все, что знает.

Суждено было остаться в живых мне одному — Сережа погиб. Я выполнил данное ему слово. Разыскал его родственников. Беседовал с его дочерью. Родители назвали ее Сталина (какая жуткая ирония судьбы!!!).

Ушел из жизни редкого мужества гордый человек, достойный за свое благородство и смелость самых высоких наград и почестей! Его «отблагодарили» по-своему и сполна!!

Преступно осудили по статье 58.1а за измену Родине. Позорно предали, предали в своих же органах НКВД, офицером которых он был и которым служил как настоящий коммунист, беззаветно и рыцарски честно всю свою недолгую жизнь!

Время, великое мудрое время в конце концов расставило все и всех по своим местам! Время восстановило светлую память о нем. После смерти Сталина его реабилитировали полностью. О Сергее Чаплине написана книга. Честная книга. Увы — посмертно!

Сегодня мне предстояло повторить последний путь моего друга. Повторить в той же компании, только на этот раз человек, спускавшийся сейчас по тропинке со своими саночками, был пеший... и без нагайки.

«Только бы не передумал», — шептал я про себя, как заклинание, глядя на подходившего ко мне уполномоченного...

Он остановился, без обычной своей иронической улыбки хмуро оглядел меня, как бы прикидывая, на что я гожусь, раздраженно пнул ногой саночки и полез в карман за махоркой... Саночки покатались было, но, ткнувшись в стену бани, стали... Щелкнула зажигалка, он закурил...

Предчувствие не обмануло меня — он колебался. «Только бы не

передумал, — причитал я, стараясь унять дрожь и боясь взглянуть на него, — сейчас все должно решиться... только бы не передумал».

Словно угадав мои мысли, уполномоченный прервал молчание:

— Значит, так!.. — Он сделал несколько затяжек и протянул окурок мне. — Кури и слушай!.. Я болван, что связался с тобой, полный болван! На хрена ты мне сдался вместе со своими посылками! В гробу я их видел. Ты думаешь, я не понимаю, на что подписываюсь? Думаешь, не вижу, какой из тебя ходок сейчас? Все вижу и все понимаю, но только... только не люблю менять своих решений, не люблю! Такой уж я человек!

Он помолчал, собираясь с мыслями, и продолжал:

— Слушай меня внимательно: пойдешь следом за мной. Идти буду не торопясь, нормально... Но предупреждаю — не отставать! Отстанешь — пеняй на себя, уйду! Ждать не буду. Цацкаться мне некогда!.. Пойдешь один или останешься подышать на дороге... Отдыхать сядешь тогда, когда я скомандую, не раньше. Никакой самодеятельности — иначе уйду! Подходят мои условия? Сдюжишь?!

От нескольких затяжек махоркой у меня все поплыло перед глазами, словно уполномоченный разговаривал со мной, сидя на вертящейся карусели... Уже много месяцев в лагере не было ни крошки табака... Боясь упасть, я прислонился спиной к углу бани и, кое-как справившись с головокружением, ответил:

— Постараюсь.

— Тогда всё, — подытожил он. — Тронулись!

И мы пошли.

Он как лидер впереди с саночками, я за ним...

Три дня назад природа сопротивлялась моему бессмысленному походу в одиночку: она обрушила на землю пятидесятиградусный мороз с поземкой и ледящим ветром и заставила в конце концов внять себе и вернуться...

Сегодня улыбалась и подбадривала. Одарила ясным безветренным утром, подрумянив его слегка бодрящим морозцем!.. Тропинку под ногами застелила мягким ковром ночной пороши — так хорошо, хоть песни пой!.. В голове, как птица, залетевшая в комнату, забилась не к месту привязавшаяся фраза: «Лед тронулся, господа присяжные заседатели!..», сочиненная дуэтом талантливых остроумцев.

Расстояние между лидером и мной стало увеличиваться. Несколько раз обернувшись, уполномоченный сбавил темп, пошел медленнее...

«...Лед тронулся, господа присяжные заседатели!..»

Впервые за последние три дня вдруг, чуть ли не до рвоты, захотел

есть! Опять стали мерещиться посылки... И чего только в них не было! В который раз смакуя, я перебирал их содержимое... Все, что я любил когда-то на «воле», укладывал в них, сортируя и отбирая продукты с расчетом на предстоящее долгое путешествие. Любимая рыба горячего копчения, севрюга, осталась дома — в посылку упаковали воблу (над ней вроде время не властно)... Насладившись запахом полубелого хлеба с тмином и изюмом, решительно заменил его сухарями... Мясо не взял — только твердокопченую «салями» (она прочнее) и сало... Украинское сало... с розовой прожилкой, тающее во рту... Как и полагается, все углы посылок забиты чесноком и луком... Сахар брал только колотый, от «сахарной головы» — он слаще. Не забыл, конечно, и табак! Папиросам предпочел сигареты и махорку, объем тот же, а табаку больше... Мороженое... при чем тут... мороженое??

С ходу налетев на что-то непонятное, я ткнулся лицом в снег и... опомнился. Надо мной стоял уполномоченный и вытягивал из-под меня опрокинутые санки... посылки исчезли.

— Ты чего? — Он подозрительно смотрел на меня. — Что с тобой?

— Ничего, простите. — Выплывывая изо рта снег, я с трудом поднялся.

— Где то место, откуда ты вернулся, дошли мы до него?

Я обернулся в сторону лагеря: сопка, которую мы обогнули, заслонила собой «Верхний» и весь пройденный нами путь. Впереди тропинка виляла вдоль крутого берега ключа и примерно в километре по ходу терялась в кустах полегшего в снег стланика.

— Мы прошли то место, — сказал я.

— Да? Уже хорошо. Двинулись дальше... Дотянем до тех кустов, — он показал рукой в сторону стланика, — перекур! — И, потянув за собой санки, не оглядываясь, легко зашагал вперед, на ходу крикнув: — Не отставать!

Я медленно поплелся за ним.

«Не отставать!» Легко тебе говорить, ты здоров, как лось! А мои силы кончаются, вернее, не кончаются, а кончились... и кончились давно. Когда ты диктовал мне свои условия, уже тогда их не было... А если быть до конца честным, их не было и вчера в бане, когда я напросился к тебе в компанию... И ты догадался об этом, ведь так? Поэтому и колебался... но все-таки решился и взял меня с собой... Почему? Ответ: почему? Не можешь ответить, а я знаю! Потому что вчера в тебе проклюнулся человек! Впервые, вдруг, неожиданно для тебя самого... И ты испугался, растерялся, не знал, как поступить с этим новым для тебя чувством: задушить ли его в зародыше, пока не поздно, или позволить терзать душу и дальше, не давая

ей очерстветь окончательно... Вчера в тебе взял верх человек, победило *милосердие!* Не понимаешь, о чем я? О милосердии. Что это такое? Потребность души прийти на помощь любому, кто в ней нуждается. Почитай Федора Михайловича — поймешь! Кто такой? Где сидел? Сидел в Сибири, в «Мертвом доме». Тоже политический? Да. Писатель. Федор Михайлович Достоевский. Не знаешь такого? Немудрено — он умер около ста лет назад, иначе не миновать бы ему знакомства с тобой... Ну, что ты замолчал? Не молчи — говори, спрашивай! О чем хочешь спрашивай, только не молчи, иначе я упаду... О Господи, как я устал!

Я стал считать шаги — переводил их в метры... Еще десяток, и конец, и я подниму глаза от дороги... Одолев эти метры, я давал себе новый зарок... Я боялся поднять глаза и не увидеть его. Только надежда, что он ждет меня, а не ушел, как грозился, и удержала меня на ногах... Нельзя, чтобы человек остался один! Нельзя!

Шатаясь из стороны в сторону, я добрался наконец до кустарника.

Совсем рядом, поперек тропинки, стояли саночки. На них сидел уполномоченный и, прищурясь, внимательно наблюдал за моими зигзагами на дороге. Из последних усилий я доковылял до него и рухнул в снег возле саночек, всё.

...Очнулся на санках. Уполномоченного не было. На снегу лежал его полушубок, на нем — кисет с махоркой и спички... Свежие следы вели в сторону от тропинки, в кусты... Понятно. Осмотрелся — это место было хорошо знакомо.

Еле-еле поднялся... Двинулся дальше.

Сознание ясно, а ноги не слушаются... Не хотят, не могут больше идти мои когда-то сильные, легкие ноги. Не чувствую я их, не мои они сейчас — огромные, как под наркозом, стопудовые, чужие... Кончается, видно, моя власть над ними... А сознание приказывает — иди! Заставь ноги двигаться. Не жди его. Нельзя, чтобы он видел твою беспомощность. Пусть знает: ты борешься до конца! Ты — сильный! Такие, как он, уважают силу. Заставь его уважать тебя, и он не уйдет, не посмеет уйти один... Да, он жесток!.. Но не только... Он может быть и милосердным — сегодня ты уже дважды убедился в этом... «Что посеешь — то и пожнешь!» Добро и зло всегда рядом, всегда вместе... Познать человека до конца невозможно!

Когда уполномоченный нагнал меня, я еще держался на ногах.

— Ты почему сбежал от меня?

Я тупо смотрел на него, пытаюсь отдышаться. В голове звенело. Плясали разноцветные круги в глазах, не хватало воздуха... Силясь ответить, я лишь бессвязно и неразборчиво промычал что-то.

— Ладно, — он подкатил ко мне саночки, легко ткнул в плечо, и я плюхнулся на них, — сиди, отдыхай.

Распутав веревку и сняв с санок чемоданчик, извлек из него еду: горбушку хлеба, кусок сала, пару луковиц... Выложив все это богатство на крышку чемодана и разделив по-братски, одну половину подвинул мне, за другую принялся сам, примостившись рядом на санках. В один миг, как «чайка соловецкая», я проглотил, почти не разжевывая, неожиданно свалившееся на меня счастье! И только после того, как доел последнюю крошку, в полную меру ощутил настоящий, лютый, дремавший во мне до поры голод. Будь силы, я, кажется, отнял бы у этого человека, разделившего со мной пищу, его долю. И ничто бы меня не остановило! Никакие угрызения совести — настолько чувство звериного голода завладело мной. Я ненавижу его сейчас!

А он, не подозревая моих мук, аппетитно похрустывал луком, неторопливо и со вкусом пережевывал пищу...

Наконец, покончив с едой и закурив, он протянул кисет мне. Оторвав листок бумаги на закрутку, я пытался насыпать в него табак и не мог — дрожали руки, не слушались, не сгибались пальцы... Кончилось тем, что уполномоченный забрал кисет, сунул мне свою горящую сигарку, а себе стал сворачивать новую...

Стоило только затянуться, как все повторилось: он снова оказался на «карусели»... Опять перед глазами все поплыло... Разом исчезли усталость, болезни, невзгоды... Стало легко и приятно... хотелось, чтобы это забытие никогда не кончалось. Великая сила — табак! Великий наркотик! Но похмелье всегда неизбежно. И оно, как правило, горько.

— Что будем делать дальше?

— Не знаю... Что хотите... Не знаю. Спасибо вам за хлеб.

— Идти можешь?

— Не знаю.

— А кто знает, я, что ли?

— Кажется, не могу... Не знаю. Ноги не ходят.

— Ты брось свое «не знаю»! — Он начинал сердиться. — Я предупреждал — уйду! Некогда мне возиться с тобой, понял?

Затоптав в снег окурок, он решительно поднялся.

— Или оставайся один, или идем, я жду! Давай, давай, поднимайся!

Встать с санок без его помощи оказалось не так-то просто. Пришлось сначала вывалиться в снег, перекапываться на четвереньки и только потом, раскачиваясь, постепенно перемещая центр тяжести к ногам, удалось подняться.

Все это время уполномоченный с раздражением наблюдал за моим «цирковым номером»...

Что ж! Пусть — я не симулирую, не ловчу и не выпрашиваю помощь!

Где-то я понимал и его: не всякий здоровый человек, тем более — мужчина, может быть «сестрой милосердия», да еще по отношению к заключенному, «врагу народа»...

Уполномоченному надоело смотреть на мои упражнения, он водрузил чемоданчик на санки, привязал его и, повернувшись ко мне, сказал:

— Всё. Я ушел. Некогда мне с тобой!.. На «17-м» предупрежу охрану — скажу, где находишься. Мой совет: хочешь жить — не стой, двигайся!

И он ушел. Я смотрел ему вслед.

Дойдя до места, где тропинка делала поворот, Ворон обернулся и крикнул:

— До «17-го» осталось меньше пяти километров. Не стой, артист, двигайся!..

Спасибо за совет — я непременно ему последую, как только ты скроешься за поворотом. Я не уверен, что этот трюк — двигайся — у меня получится. Не хотелось бы репетировать его на публике... Мои ноги сейчас — не мои, чужие, все равно что протезы, а на протезах сразу не ходят, на них сначала учатся... Мне, к сожалению, времени на учебу не отпущено...

Я сделал шаг, другой, третий... Снова резанула боль в паху. Почему-то в паху ноги болели особенно. Ничего, к боли можно привыкнуть, притерпеться — главное, не спешить, не торопиться и не упасть. Это главное — не упасть!

Как он сказал?.. До «17-го» осталось меньше пяти километров!! Как будто я не знаю, сколько осталось!.. Этот «пятый километр» (где я сейчас припухаю) мне памятен. На том свете я не забуду его! Здесь в меня стреляли однажды... Надо же, мистика какая-то!.. Судьба опять привела на это роковое место — нарочно не придумаешь! Пятый километр...

Тогда на «17-м» нас выгрузили из автомашин и передали местному конвою. Цепочкой по одному конвой повел пешим строем на «Верхний». На пятом километре тропинка увела этап в заросли стланика. Ветки были сплошь усеяны молодыми шишками — в то лето случился урожай кедровых орехов. Меня так и подмывало сорвать шишку, но я боялся конвоя, да и шишки висели далековато... Наконец, уже на выходе из зарослей, заметил роскошную шишку, висевшую рядом с тропинкой, не удержался от соблазна и вышел на несколько шагов из строя, чтобы сорвать ее... Раздался выстрел. Я быстро обернулся: шагах в пятнадцати позади комендант целился в меня с локтя из пистолета. Не дожидаясь, когда он

снова выстрелит, я упал. Полтора Ивана (так звали коменданта за его огромный рост) подбежал и своим сапожищем перевернул меня на спину. Я растерянно глядел на него во все глаза... «Твою мать, промазал!» — выругался он, поняв, что я живой. «Не тушуйся, комендант, в следующий раз попадешь», — с дурацкой улыбкой посочувствовал я ему. Обычно в таких случаях комендант жестоко избивал жертву — не одна загубленная жизнь значилась на его совести, но на этот раз произошло что-то необъяснимое: он, как загипнотизированный, долго и странно смотрел мне в глаза, выражение лица его постепенно становилось все более и более нормальным, человеческим. На глазах у всех Полтора Ивана из злодея превращался в доброго Дядю Степу... Он осторожно снял ногу с моей груди и, беззлобно пробурчав: «Становись в строй», растерянно и как-то виновато даже отошел.

С того дня комендант возлюбил меня прямо-таки, как Парфен Рогожин князя Мышкина. Я стал его «крестником». Едва завидя, издали кричал: «Крестник! Давай сюда, покурим!» Делился последней сигаркой, не позволял вохре обижать беспричинно, когда я заболел цингой, сочувствовал, утешал...

Кончил Полтора Ивана плачевно. В разладе с собой и начальством. На ноябрьские праздники загулял, да так, что не мог остановиться чуть ли не до Нового года; поскандалил со своим начальством, в пьяной драке изувечил двоих своих же вохровцев (рука у него была тяжелая) и угодил под трибунал — его под конвоем спровадили с «Верхнего».

Размышляя о судьбе незадачливого коменданта, я одолел пятый километр и выбрался наконец из зарослей стланика на равнину. Дальше тропинка, почти не виляя, бежала с легким уклоном в долину, до самого «17-го».

Пройдя еще несколько десятков метров, я упал, все-таки упал... И так, около шести километров позади. Впереди осталось четыре, чуть больше... Чуть больше, чуть меньше — уже не имеет значения: свой путь я прошел! Свое «горючее» сжег дотла — мои баки пусты и резерв исчерпан — дальше идти не на чем, ни сил, ни самолюбия: все израсходовано... Кто-то сказал: «Нет сил жить, и даже отчаяние мое бессильно!» Мое отчаяние помогло мне каким-то образом снова встать на четвереньки, изготавиться к очередному «старту»; я начал было уже раскачиваться, чтобы подняться, и в этот момент увидел подходившего ко мне уполномоченного. Вот это да! Вернулся-таки!.. Выходит, не подвела меня интуиция, не обманула — есть Бог на свете!

Я не мог скрыть радость, охватившую меня, заулыбался, но встать на

ноги, как ни старался, не смог — так и встретил своего спасителя на четвереньках.

С мрачным видом подойдя ко мне, он, ни слова не говоря, приподнял меня за шиворот из снега и усадил на санки. Чемоданчик переложил в ноги и крепко-накрепко прикрутил нас обоих веревкой.

Я не сопротивлялся. В моей душе сейчас победно пели ангелы, торжественно звучала суровая музыка Пятой симфонии Бетховена, исполняемая сводным оркестром всех лучших симфонических оркестров мира!

И тут уполномоченного прорвало:

— Чего улыбаешься, чего лыбишься, фитиль несчастный!.. Думаешь, жалко тебя стало? Нужен ты мне очень, артист... Посмотрел бы ты на себя, какой ты артист!.. Артисты в Москве, в Большом театре поют, а не на Колыме вкалывают... Спасибо скажи, что на меня, дурака, попал, а не на кого другого!.. Надо же! Расскажи кому — не поверят! Впрягся, как конь, в упряжку и тащу его, гада, констриктора, — драгоценность какая, самородок!.. Брось улыбаться, говорю! Доулыбаешься, что брошу к чертовой матери или пристрелю, как собаку, — навязался на мою шею, интеллигент...

Все оставшиеся до «17-го» километры он материл меня последними словами (то проклиная, то угрожая). Не щадил и себя, клял за минутную слабость в бане, с которой, по его словам, все и началось...

Еще вчера он понял, что никаких физических сил пройти десять километров во мне нет, что моя просьба была чисто волевым всплеском, последней надеждой человека, стоящего на грани жизни и смерти... Он предвидел вариант, что, возможно, ему самому придется тащить меня живого или мертвого... и все-таки пошел и на это.

Вот, значит, зачем ему понадобились саночки, вот зачем он захватил их. Какие слова способны объяснить этот поступок? А Полтора Ивана с его проснувшимся неуклюжим милосердием?! Его дремучий бунт против всех и вся?! Кто может исследовать, найти объяснение причинам неожиданной трансформации в психике людей — в этой бесконечной войне Добра и Зла?

...Мы приближались к финишу. Санки бежали под уклон легко и весело, как бы в тайном союзе с моими желаниями. Иногда, правда, соскользнув с тропинки, они глубоко проваливались в снег, — уполномоченный тут же чертыхался и награждал меня очередной порцией мата.

Я неотрывно смотрел вперед — во мне пели ангелы! С каждой минутой все торжественнее и громче!

Наконец я увидел долгожданный ориентир всякого колымского

поселения — сторожевые охранные вышки и колючую проволоку...

Неподалеку от лагерной вахты уполномоченный остановил санки, распутал веревку, выматерился напоследок в мой адрес, закурил... Мы финишировали.

— Спасибо, гражданин начальник! — сказал я.

Игнорируя мою благодарность, он направился в помещение рядом с вахтой, на двери которого красовались три огромные, намалеванные суриком буквы — МХЧ (материально-хозяйственная часть); уже от двери, обернувшись, приказал:

— Жди меня здесь, — и скрылся.

Как собака неотрывно смотрит на дверь, в которую ушел ее хозяин, приказав ей: «Сидеть!», так и я сейчас, ничего вокруг себя не видя, смотрел на МХЧ с надеждой и страхом и ждал возвращения уполномоченного. Вскоре он вышел, держа в руках два фанерных ящика, обшитых серым полотняным материалом, изрядно заштемпелеванных, с остатками сургучных печатей по стенкам, мои посылки...

— Забирай свое наследство! — Он поставил посылки у моих ног.

Наконец-то! Остался позади десятикилометровый тоннель между жизнью и смертью... Ценою нечеловеческих усилий я одолел его!.. Вот они — два ящика у моих ног — в них всё!.. Мое спасение, моя жизнь! Они мои! И никто не в силах отнять их у меня!

В жизни каждого человека бывают поступки (главные поступки его жизни), которыми он гордится или, наоборот, которые презирает, старается скорее забыть... В моем положении поступил я тогда единственно правильно — я сказал:

— Гражданин начальник! Спасибо за все, но я вас прошу, сделайте еще одно доброе дело...

— Какое еще дело? — недовольно спросил он.

— Отдайте посылки охране и прикажите не выдавать их мне... хотя бы в течение трех суток... Пусть несколько дней дадут мне понемногу, порциями, понимаете?..

Уполномоченный серьезно посмотрел мне в глаза и впервые, кажется, по-человечески искренне сказал:

— Вот за это — молодец!.. Смотри-ка, сколько в тебе силы, оказывается!.. Сколько характера сохранилось... молодец! Теперь верю — жить будешь! Я догадывался, что ты мужик крепкий, жаль, что контрик.

— Никакой я не контрик!

— Ладно — не агитируй! Пошли.

Он подхватил обе посылки и быстро зашагал к вахте. Когда меня

позвали зайти в помещение, на столе лежали обе мои посылки. В комнате находились два дежурных вохровца. Распоряжался уполномоченный.

— Вскрывай! — приказал он одному из вохровцев и, показав рукой на меня, представил: — Этот фитиль с «Верхнего». Пришел за своими посылками. Три дня не давать ему их! Как бы ни просил — не отдавать! Кормите понемногу, раза три в сутки, чтобы не случилось с голодухи заворота кишок, понятно? Учтите: сам он об этом попросил — боится за себя. Посмотрим, что там сохранилось? Сколько времени шли посылки?

Охранник повертел ящики, но никакой даты не нашел.

— Ладно, пойдем и так, — сказал уполномоченный. — Режь!

Вся сцена напоминала операционную, с главным «хирургом» — уполномоченным во главе.

Охранник вспорол обшивку, подковырнул несколько раз верхнюю крышку и вскрыл посылку.

Вытащить из нее ничего не удалось, кроме чудом сохранившейся описи, прилипшей к фанерной крышке. В ней перечислялось содержимое и количество каждого продукта.

Все, что было в посылке, а именно: сахар, колбаса, сало, конфеты, лук, чеснок, печенье, сухари, шоколад, папиросы «Беломор», вместе с оберточной и газетной бумагой, в которую был завернут каждый продукт, — за время трехлетнего блуждания в поисках адресата перемешалось, как в стиральной машине превратилось в единую твердую массу со сладковатым запахом гнили, плесени, запахом табака и конфетной парфюмерии... Все пропиталось жиром и табаком, засахарилось...

Такая же картина повторилась и в другой посылке, с той только разницей, что там к содержимому добавились пара шерстяных носков и варежки.

— Нда!.. — удивился уполномоченный. — Это называется поел, покурил и газетку почитал!.. И все зараз, в один присест. Что будем делать? Выбрасывать или?.. Распоряжайся, ты хозяин!

Охранники с брезгливым любопытством наблюдали за мной. Я подошел к столу, откромсал ножом кусок и тут же при всех, почти не разжевывая, торопливо проглотил, не разбирая ни вкуса, ни запаха, словно боясь, что кто-то может помешать или отнять у меня «это»...

Состояние потревоженного голода, проснувшегося в человеке при виде пищи, сравнимо разве что с состоянием алкоголика или наркомана.

Страдал и я. Муки голода, на которые я добровольно обрек себя, отдав на трое суток посылки, были мучительны. Я готов был сейчас наброситься на посылки и есть их, есть, есть без конца. Истощенный организм не

считался ни с чем, ни с какими доводами и предостережениями разума.

И все-таки, к разочарованию сытых, жаждавших представления охранников, я нашел в себе силы удержаться от соблазна и, ни на кого из них не глядя, вышел за дверь вахты. Инстинкт самосохранения и на этот раз взял верх!

В памяти еще жив был трагичный случай с одним бедолагой... В разгар промывочного сезона на прииск «Пионер» пожаловал целый оркестр заключенных-музыкантов, человек двадцать (поощрительная мера культурно-воспитательного отдела МАГЛАГа прииску, выполняющему план). Начальство лагеря распорядилось покормить музыкантов с дороги. В барак, где они расположились, повар принес противень селедок — по штуке на каждого. Музыканты в лагере — каста привилегированная, сытая — селедками их не ублажишь, никто есть не стал. Весь противень отправили обратно на кухню с каким-то подвернувшимся доходягой. Тому, конечно, и не снилась такая удача! Человек он был приморенный, голодный — характера удержаться от соблазна не хватило, и он съел, вернее, проглотил все двадцать селедок в течение нескольких минут. Заворот кишок не заставил себя ждать. Жутко было видеть, как изо рта этого бедняги перед смертью, когда начались спазмы, выскакивали одна за другой селедки... Невероятно, как он ухитрился глотать их целыми?!

...Наконец из дверей вахты снова появился уполномоченный вместе со старостой лагеря.

— Сколько сейчас времени? — спросил я.

Он пристально посмотрел мне в глаза и сказал:

— Сейчас только три часа — не беспокойся, тебя покормят сегодня еще раз, вечером — терпи.

Замолчал, задумался, с иронической усмешкой оглядел меня еще раз и изрек:

— Значит, так! Останешься здесь на трое суток, пока не придешь в себя и не оклемаешься. Староста укажет место в бараке и выдаст пайку. Санки заберешь — это мой подарок тебе за характер! Пригодятся, когда будешь возвращаться на «Верхний»... Всё! Я уехал. Прощай, артист! Может, когда и встретимся в жизни. Чем черт не шутит!

Ворон сдал меня подошедшему старосте и ушел... исчез, загадав мне на всю жизнь загадку: «Что же такое есть человек?!»

Так мучительно долго еще никогда не тянулось время, как в эти последние трое суток. Ни лежать, ни спать я не мог — животный инстинкт гнал из барака к вахте, поближе к посылкам. Я окончательно потерял контроль над собой: не доверял охранникам, боялся, что они или выбросят

посылки, или скормят собакам. Как волк из засады, следил за каждым, кто заходил на вахту... Когда подходило время получать очередную порцию, я умолял отдать мне всё — уверял, что я уже в порядке, клянчил, плакал, угрожал, оскорблял, кричал «фашисты!», грозился выбить стекла в окнах, бил кулаками в дверь, в стены вахты, скулил от бессилия.

Спасибо охранникам. Они не поддались на мои «провокации» и в точности выполнили приказ уполномоченного. На мое счастье, у них хватило и нервов, и добродушия... Когда же им становилось особенно невтерпеж, они просто брали меня за шиворот и оттаскивали, как щенка, в снег, подальше от вахты...

Наконец наступил долгожданный день — трехсуточный «карантин» кончился!

К недоумению вахтеров, за посылками я не явился!! Уже закончился утренний развод в лагере, бригады вышли на работу, а меня все нет и нет... Послали старосту узнать, в чем дело, куда я мог подеваться. Никуда я не «подевался» — староста обнаружил меня в бараке, на своем месте: я спал! В самый критический, кризисный момент физической и нервной истощенности мое подсознание (самый безошибочный диагностик) пришло мне на помощь, сделав выбор между сном и пищей. Я спал глубоким, живительным сном праведника! Так спят тяжелобольные, переборовшие болезнь. Так, наверное, спали вывезенные из блокадного Ленинграда спасенные дети — наступил кризис. Когда староста разбудил меня, впервые за эти горестные месяцы я почувствовал в себе слабый огонек надежды, впервые поверил, что буду жить!

...Когда «17-й» окончательно скрылся из глаз и перестали быть слышны скрежет транспортерной ленты, человеческие голоса и пыхтение паровых экскаваторов, когда в безбрежии сияющего на все четыре стороны, слепящего снега воцарилась тишина, я остановился отдохнуть, мне хотелось есть.

Весеннее солнышко уже давало о себе знать — было тепло и клонило в сон... Но теперь я уже вполне владел собой. Я сидел на санках и ел — обстоятельно и неторопливо... Интересно, что содержалось в той «массе», которую я сейчас с таким наслаждением разжевывал? Я развернул опись и перечитал ее вслух. В конце описи большие, неровные буквы, тщательно выведенные непослушной рукой матери, промаслились, чернильный карандаш расплылся, потек, но разобрать написанное было можно... Опись заканчивалась словами: «На здоровье, сынок! Береги себя».

Клейменный (Недописанный рассказ)

Сегодня опять ни свет ни заря ко мне заявился милиционер. На лице у него — все тот же немой вопрос: когда уеду? В сердцах запустил в него валенком.

— Сколько можно повторять, — кричу, — уеду тогда, когда уволят с работы! Повторить? Когда уволят с работы, понял? И лучше не ходи больше! В следующий раз получишь не валенком, а чем-нибудь потяжелее!

Милиционер хороший, не обижается, но и не уходит. Продолжает канючить:

— Войди и в мое положение, я — человек подневольный. Меня начальство посылает... Я обязан подчиниться...

— Передай своему начальству, пусть идут к... к директору киностудии и там требуют моего увольнения! Уволят — ни минуты не останусь в вашем засратом Свердловске, пропади он пропадом вместе с тобой!

Милиционер, потоптавшись еще немного, уходит. Но мне от этого не легче: знаю, завтра все повторится. И так уже который месяц...

В возникшей ситуации счастливого исхода для себя не вижу. Положение — хуже не придумаешь... Что предпринять? Куда податься? К кому? Не знаю.

Вспомнился Магадан... Лето 45-го. Год моего «освобождения».

Только что закончилась Великая Отечественная. Над столицей и в городах-героях еще гремели победные салюты, отдаваясь по истерзанной военным лихолетьем стране сполохами радужных надежд. Перемен ждали все... Вся страна.

Ждали их и мы, заключенные-контрики, давным-давно отсидевшие свои липовые сроки, но задержанные в лагерях каким-то таинственным «особым распоряжением» до окончания войны.

Война, слава богу, кончилась, а «особого распоряжения» на освобождение почему-то не последовало... Этому не особенно удивлялись — к произволу властей привыкли. Да и наивно было рассчитывать на великодушные Кремля в политической ситуации, складывавшейся на Дальнем Востоке... На горизонте уже зрела новая война с Японией.

Вольнонаемные колымчане, по разным причинам избежавшие в свое время фронтов Великой Отечественной, сейчас откровенно нервничали, с тревогой прислушиваясь к новым патриотическим радиопередачам из

Москвы.

Нервничали и мы. Опасались, как бы под этот песеннопатриотический шумок всех нас вообще не шлепнули. А что?! В практике ГУЛАГа этот способ решения проблем не в диковинку — Япония-то рядом... Зачем держать «пятую колонну» в такой близости к противнику?

...В один из тревожных дней 45-го меня неожиданно вызвали в управление магаданского лагеря. Вызов к начальству, как правило, не предвещал ничего хорошего (ожидаешь радость — пожинаешь горе). Однако многое в жизни нередко происходит вопреки ожиданиям.

Начальник культурно-воспитательной части МАГЛАГа Валентина Константиновна Драбкина, весьма привлекательная молодая женщина, вызвавшая к себе в кабинет, поднялась из-за стола мне навстречу, с улыбкой протянула руку для рукопожатия и торжественно провозгласила:

— Товарищ Жженев, поздравляю! Сегодня ночью (!!!) муж подписал твое освобождение из лагеря! Рада сообщить тебе это.

Доброй души человек, Валентина Константиновна за время своего начальствования не очерствела в своей должности, не разучилась и сама радоваться, как ребенок, если ей удавалось хоть чем-нибудь помочь заключенному.

Сама истинная театралка, она симпатизировала и нам, подопечным ей актерам-зекам... Делала много хорошего: защищала нас, утешала, подбадривала... Своим человеческим участием и сердечностью всячески поддерживала в нас веру в жизнь, в перемены... Сейчас, ожидая реакции на свои слова, она откровенно наслаждалась моей растерянностью... Ждала, когда лицо мое, ошарашенное новостью, снова примет осмысленное выражение.

На Колыме Валентина Константиновна появилась совсем молодой девушкой — в тридцатые годы, когда Ленинский комсомол по наказу своего старшего брата — ЦК ВКП(б) — на все лады соблазнял молодежь «романтикой дальних окраин Родины». Призывал «на комсомольские стройки» Воркуты, Печоры, Караганды, Комсомольска-на-Амуре, Колымы...

Зазывал девушек разделить «героические будни комсомольцев», в поте лица добывающих стране драгоценные металлы, лес, уголь... Звал строить новые города, поселки, создавать семьи, рожать детей, обживать бескрайние просторы Заполярья...

Острый дефицит вольнонаемных кадров испытывали все «комсомольские» стройки века, и особенно — Дальстрой НКВД СССР

Рабовладельческое хозяйство колымского ГУЛАГа, жиревшее в те годы

от обилия человеческих жертв, привозимых ему на заклатие, требовало постоянного пополнения вольнонаемными надсмотрщиками всех рангов.

В тридцатых годах Колыма стала для страны уникальным поставщиком касситерита, золота и других редких металлов. Самым же редким «металлом» всегда являлась женщина... Их катастрофически не хватало. Кроме небольшого процента освободившихся из заключения и пожелавших остаться на Колыме, их там не было вовсе.

Можно представить себе, как местные мужички обрадовались десанту девушек, прибывшему на Колыму не как-нибудь, а по доброй воле. Их мгновенно расхватили. Лучшие из «хетагуровок»^[5], самые «фартовые» и молодые, как всегда, достались начальству.

Так и Валя (не знаю ее девичьей фамилии) стала Валентиной Константиновной Драбкиной, женой большого гулаговского начальника. А ее товарка Гридасова и вовсе совершила «головокружительную карьеру», оказавшись супругой самого Ивана Федоровича Никишова — начальника Дальстроя.

Могущественные мужья, естественно, подыскали для своих молодых жен поле деятельности, соответствовавшее их собственному престижу: Гридасова стала вскоре начальником всего МАГЛАГа, а Валентина Константиновна — ее помощницей по культурно-воспитательной части (начальником КВЧ МАГЛАГа, как и положено, — рангом ниже). Позже, уже здесь, в Москве, после моего возвращения из Дальстроя, до меня дошли слухи, что властолюбивая и достаточно сумасбродная Гридасова, и при жизни Никишова любившая «пожить весело», постепенно утратила свою власть, опустила, в бесконечных пьянках спустила все нажитое на Колыме и, кажется, спилась окончательно...

А с Валентиной Константиновной Драбкиной я поддерживал письменную и телефонную связь до самой ее смерти. Мне известно, что после Дальстроя она окончила Высшую партийную школу в Москве, долгое время работала освобожденным парторгом на одном из крупных московских предприятий, а после смерти мужа окончательно ушла на пенсию...

Тогда, в МАГЛАГе, с удовольствием приняв от меня подобающие моменту слова благодарности, она зачитала мне документ, подписанный ее мужем — полковником Драбкиным, начальником УСВИТЛа (Управления Северо-Восточных исправительно-трудовых лагерей).

Бумага гласила, что за хорошую, добросовестную работу на благо Родины и примерное поведение в быту я подлежу, в порядке исключения, «условно-досрочному освобождению» из лагеря. (Ничего себе —

«досрочному»!.. Уже два года, как я пересиживал свой срок!)

Через несколько дней мне выдали паспорт. Крутанув на прощание турникет лагерной вахты, я покинул барак Магаданской «транзитки» и оказался за зоной... на воле! С тридцатью годами житейского багажа за спиной и с узелком арестантских шмоток под мышкой.

Минута, о которой я грезил во сне и наяву все эти семь лет, наступила!

В бесконечных мечтах и снах она — эта минута — представлялась мне по-другому... Но так или иначе — меня освободили! Я стал «вольняшкой»!!!

Человек недолго бывает доволен своим положением... Уже через несколько месяцев я энергично запросился «на материк», домой, в Питер! К родным и близким, в мир любимого кинематографа, от которого так несправедливо и так надолго я был отлучен и куда всеми помыслами стремился вернуться.

К сожалению, мои усилия добиться права на выезд успеха не имели. В те годы уволиться с выездом «на материк» было непросто, особенно бывшим заключенным... Для этого требовались особо веские причины. По существовавшему положению право выезда получали лишь инвалиды и лица, чья профессия не имела применения или вообще отсутствовала в практике Дальстроя. Свое настойчивое желание уехать я пытался обосновать тем, что, поскольку на Колыме не существует киностудий, то я, киноартист, естественно, не могу быть использован по специальности.

На это мне было заявлено, чтобы я заткнулся и не возникал больше с этим вопросом. Раз я, артист, работаю в театре в качестве артиста, значит — работаю по специальности. И никаких претензий по этому поводу быть не может.

Советской власти с привычными «исполкомами» и прочими бюрократическими институтами на Колыме не существовало; жаловаться было некому.

Единственным и всевластным хозяином был тогда Дальстрой НКВД СССР во главе с генерал-лейтенантом И. Ф. Никишовым. Генерал творил закон по своему усмотрению и настроению, единолично. В его действиях понятие «производственная необходимость» решало все, было выше любого закона.

Я был огорчен всем этим, но умные люди, раньше меня прошедшие круги ада и симпатизирующие мне, рассуждали иначе:

— Не суйся на материк с 39-й режимной статьей в паспорте, горяшкахватишь! Это же — волчий билет! Будут гонять отовсюду, как бездомную собаку! А кончится тем, что снова посадят! Ты, небось, поперешься не куда-

нибудь, а в Москву, в Питер искать справедливость. Долго ли пришить наивному идиоту, бывшему «контрику», «нарушение паспортного режима» или что-нибудь и того хуже?.. Первый же дворник дома, где ты остановишься, настучит в милицию! Уезжать с Колымы можно только с чистым паспортом, как у всех, кто не сидел в лагере и не подвергался репрессиям... А у тебя паспорт «с повышенной температурой» (39-я статья), так что — сиди и не рыпайся! Радуйся, что не подох в лагере, а выбрался живым! Радуйся, что работаешь в театре, а не в забое вкальываешь! Что не отлучен от любимой профессии... Война, слава богу, кончилась, радуйся вместе со всеми! Все ждут перемен к лучшему, вся страна, ждут и надеются, — жди и ты! И не торопись, не шустри, жизни у тебя впереди еще много, ты молод...

Честно говоря, я не очень внял тогда напутствиям и предостережениям друзей — слишком велика была радость освобождения... а главное — вера! Выстраданная, выжившая в испытаниях вера в то, что все страшное уже позади, что с окончанием мировой войны неизбежно падет и царство ГУЛАГа. Изменится режим власти в СССР, «империи зла» на земле рухнет, и мир встанет наконец на путь Добра и Справедливости...

Наивный человек! Я все еще отказывался верить, что мировой фашизм — это гидра, чудовище с несколькими головами. Отрубив голову германскому фашизму, мир избавился лишь от Гитлера... На шестой части Земли, в СССР, выстоял и торжествовал победу над соперником еще более жестокий, более человеконенавистнический фашизм — фашизм сталинский, коммунистический!

Какая, к черту, могла сохраниться вера в разумное, справедливое устройство послевоенного мира, когда я к тому времени на собственной шкуре сполна познал, что почем в жизни. Ведь жизнь, как любая монета, имеет две стороны — лицо и изнанку, «орла» и «решку»... Испытание на прочность начинается тогда, когда стороны эти соприкасаются. В моей жизни это случилось на двадцать третьем году, когда судьбе угодно было ткнуть меня носом в самую что ни на есть «изнанку»... Приоткрыть жизнь, как она видна «с черного хода», из «людской», откуда советская действительность виделась в своем настоящем, истинном свете, без парадной показухи, без лжи и демагогии — непременно спутников любой диктатуры.

Из моих тридцати лет семь последних ушло исключительно на борьбу за выживание, за право физического существования на этом свете... Да и последующие десять лет мало отличались от семи предыдущих: два года мытарств с «подозрительным» паспортом в поисках разрешенного мне

места жительства... повторный арест в 1947-м... и опять — тюрьма, теперь уже в городе Горьком... Снова камера, снова дурацкие допросы, через полгода — очередной этап на восток, через всю Россию, в Красноярский край... Правда, на этот раз на допросах не били, а вместо нового срока все то же Особое совещание наградило бессрочной ссылкой на Таймыр, в Норильск... Но все это будет в последующие годы, потом... А сейчас, в 1945-м, только освободившись, я рвался «на материк». Упорно, но безрезультатно.

Так весь сезон 1945-46 годов я продолжал работать в театре, но уже не как заключенный артист — за пайку хлеба, а как «вольняшка», за полноценную зарплату, которой по тогдашним ценам хватало на несколько дней в месяц.

Неожиданно, в конце 1946 года, проблемы с выездом рассосались сами собой. Стоило только рухнуть моим добрым отношениям с директором театра Адолиной, и невозможное стало возможным — мне перестали препятствовать в хлопотах об отъезде. Всегда и во всем благоволившая ко мне директриса, не желавшая ранее ничего и слышать о моем уходе из театра, изменила вдруг свою позицию настолько резко, что сама, первая, предложила мне подать заявление об уходе.

Как выяснилось, виной всему оказался... футбол! Его Величество футбол, давняя любовь моя! Непроходящая страсть моей жизни, едва не ставшая профессией.

В середине тридцатых в спортивных кругах Ленинграда серьезно заявил о себе футболист по кличке Джон (производное от моей фамилии, должно быть...). Играл я в то время за первые команды таких клубов, как «Электрик», «Строители», «Промкооперация». Был даже кандидатом в профсоюзную сборную Ленинграда. Друзья пророчили мне спортивное будущее.

В те годы советский спорт превращался мало-помалу из любительского в профессиональный, становился на профессиональные рельсы. Правда, на официальном уровне мы еще долго притворялись «любителями».

Футболистам за игру стали платить. Если не деньгами, то, как сейчас говорят, «по бартеру». В клубах появились тренеры. Они учили профессиональной командной игре, следили за режимом, требовали от спортсмена стабильной физической формы. Проводились регулярные обязательные сборы, тренировки, поездки на игры. Спорт, как и балет, требует от человека полной отдачи себя, всех своих сил и времени. Дарить футболу только свое свободное время — от игры до игры, то есть раз в

неделю, в воскресенье — стало явно недостаточным. Это, куда ни шло, годилось для любителя, но не для профессионала. Вот почему мой дорогой учитель и режиссер Сергей Аполлинариевич Герасимов мне и сказал однажды:

— Ну, Жора, выбирай... или футбол, или кино, что-нибудь одно из двух... Совмещение, как видишь, не получается!

Поставить крест на любимой игре, не сожалеть и не мучиться помог тогда НКВД, разлучив меня на ближайшие семнадцать лет не только с футболом, но и со свободой вообще. В довершение всех бед за два дня до ареста в игре с «Треугольником» игрок по кличке Карандаш нанес мне очень серьезную травму колена (мениск), так что в тюрьме «Большого дома», стоя на «конвейере» у следователя, я наслаждался зрелищем собственного обезображенного, отекавшего до слоновьих размеров, сочившегося сукровицей, искалеченного колена. Я прощался с футболом, как мне казалось, навсегда. Глядя на сустав, который назывался моим коленом, я не верил, что когда-нибудь, даже в самом далеком будущем, если мне суждено остаться в живых, он снова примет нормальный, божеский вид.

Но... человек непредсказуем: на нем, как на собаке, все заживает...

Сейчас колено при мне и по-прежнему худо-бедно действует, если, конечно, не пижонить, не испытывать его и не перетруждать такими занятиями, как футбол или теннис. Теперь я это понимаю. Тогда же, в 45-м, по молодости или легкомыслию, решительно не понимал...

От «Глухаря» до «Жар-птицы»

1

В мае 1975 года делегация кинематографистов, направлявшаяся на Неделю советских фильмов в Аргентину, застряла в Париже в ожидании виз. Делегацию представляли два актера: артистка кино Жанна Болотова, красивая, со сдержанным характером и манерами, изящная молодая женщина, и я — артист Театра имени Моссовета.

Политическая ситуация в Аргентине, от которой зависел наш приезд, была сложной, и Госкино посчитало, что получить визы через наше посольство в Париже будет проще и скорее, чем в Москве.

Мы не протестовали. За всю свою жизнь я не встретил человека, который не был бы рад провести несколько лишних дней в Париже.

Париж покоряет с первого дня встречи! Буквально через час пребывания в нем чувствуешь себя легко и просто, как со старым приветливым другом. Обаяние этого чудесного города — в его мягкой жизнерадостности и легкости, поразительной легкости во всем! И прежде всего в архитектуре его бесчисленных дворцов и площадей, мансардных крыш, в его бульварах... В приветливой жизни улиц, в остроумных, общительных людях, в климате, наконец!

Принято думать, что город, в котором ты мечтал побывать, но никогда не был, при свидании всегда почему-то разочаровывает... В таких случаях говорят: «Ожидал большего». Кажется, все, что ты читал, знал и видел о нем заочно, ярче самой встречи! Такова, наверно, сила первого впечатления...

Тем более если это впечатление навязано талантом больших художников, писателей, режиссеров...

Париж в этом смысле исключение! Все ранее слышанное, читанное, виденное не заменяет встречу, а всего лишь подготавливает человека к предстоящей радости свидания.

Главная достопримечательность Парижа не Эйфелева башня, а атмосфера, люди, жизнелюбие, воздух! А уж потом и Эйфелева башня, и Лувр, и кабачки Латинского квартала, и Монмартр, и многое-многое другое, чем издавна и по сей день восторгаются лучшие художники мира.

Кинематограф некоторым своим работникам (счастливицам!), угадавшим пять-шесть номеров своеобразного «кинематографического

спортлото», время от времени дает возможность видеть мир.

Мне доводилось бывать в Париже и раньше. К сожалению, кратко, большей частью как транзитному пассажиру.

В этих случаях всегда старался, чтобы билет был с пересадкой. И чтобы эта пересадка, «стыковка» самолетов, приходилась на Париж и была по времени возможно дольше.

На трое суток всегда можно было беспрепятственно, не выходя из любого аэропорта, получить полицейскую визу, разрешающую иностранцу пребывание в Париже. Право транзитного пассажира! Оно обеспечивало пассажиру гостиницу, питание и транспорт за счет той авиакомпании, благодаря которой пассажир летел дальше и дольше! Так называемый «закон длинного плеча»...

В Париже всюду цвели каштаны. Пригревало майское солнышко, на улицах продавали первую клубнику...

Целыми днями мы бродили по городу, с удовольствием дыша парижским смогом... С толпами туристов побывали в Лувре, в Версале, ездили в Шантийи, во дворец принца Конде... Словом, прекрасно проводили время в ожидании виз.

В визах нам в конце концов было отказано — видно, в Аргентине не то правительство пришло к власти, на какое мы рассчитывали. Неделя советских фильмов была отменена, и мы с Жанной собирались улететь домой, в Москву.

До вылета самолета в нашем распоряжении оставались еще целые сутки.

По просьбе нашего посольства и общества «Франция-СССР» мы дали согласие побывать на вечере советского фильма в клубе «Жар-птица».

В этот воскресный вечер там должен был демонстрироваться фильм «Молчание доктора Ивенса» с участием Жанны Болотовой.

«Жар-птица» — приватный клуб, расположенный в тихом районе Парижа, охотно посещаемый разношерстной публикой в воскресные дни. И прежде всего русскими, занесенными ураганными ветрами двадцатого столетия, двумя мировыми войнами, Октябрьской революцией, Гражданской войной в России...

Приехали мы рано. Нас встретил один из владельцев «Жар-птицы» — улыбчивый человек лет пятидесяти, прекрасно говоривший по-русски. По характерному акценту можно было безошибочно признать в нем грузина (интересно, как звучал его акцент, когда он разговаривал по-французски?). Извинившись перед нами на тот случай, если публики на вечере будет немного («в воскресные дни парижане обычно бывают за городом»), месье

грузин пригласил нас ознакомиться с клубом, пока зрители собираются и рассаживаются.

Вопреки его прогнозам, народу набралось достаточно. Когда мы вошли в зал, он был почти полон. Нас провели на сцену, представили публике и попросили каждого сказать зрителям несколько слов. Не без задней мысли я предложил Жанне высказаться первой. Она предваряла своим словом фильм — ей было ясно, о чем следует говорить, — конечно, о фильме, о своем участии в нем, словом, ситуация для нее была привычной.

А вот я решительно не представлял, о чем мне следовало разговаривать с парижской публикой, и очень надеялся, как в таких случаях и бывает, за те минуты, пока выступает партнер, успеть не только осмотреться, присмотреться и придумать тему своего выступления, но и поймать ту непременно «изюминку», без которой даже самый красноречивый человек выглядит всегда пресным и косноязычным.

Погруженный в свои мысли, я в то же время присматривался к затихшему залу, стараясь понять публику.

А публика «Жар-птицы» была весьма пестренькая и разноязыкая!

Кроме молодежи — студентов кафедры славянских языков Венсенского университета, обращали на себя внимание аристократические старики и старушки с ностальгическим выражением лиц, замороженно слушавшие красивую русскую артистку из Москвы... Последние могикане далекой «белой» эмиграции, дожившие до наших дней!.. (Их дети и дети их детей уже родились во Франции и знали о России только понаслышке.)

Мне приятно было узнать, что в годы войны многие из них были на стороне боровшихся с фашизмом, участвовали во французском движении Сопротивления, некоторые воевали в «маки»...

Были в зале и «осколки» Второй мировой войны, выплеснутые из России вместе с немцами...

Были невозвращенцы и диссиденты...

И конечно же, эмигранты наших дней, вырвавшиеся из Советского Союза по зову крови на родину предков — в Израиль.

Справедливости ради следует сказать, что патриотизма на весь путь от Москвы до Тель-Авива, как правило, не хватало, — остатки благородного чувства улетучивались обычно в Париже, Риме или Нью-Йорке...

Все эти первые мысли и впечатления о публике «Жар-птицы» постепенно обрели во мне определенность, и, когда Жанна Болотова закончила свое выступление и передала эстафету мне, я уже знал, о чем буду говорить.

— Я русский, — начал я. — Родился в городе, о котором наш великий

поэт Александр Сергеевич Пушкин писал:

Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное течение,
Береговой ее гранит,
Твоих оград узор чугунный,
Твоих задумчивых ночей
Прозрачный сумрак, блеск безлунный,
Когда я в комнате моей
Пищу, читаю без лампы...
И ясны спящие громады
Пустынных улиц, и светла
Адмиралтейская игла,
И, не пуская тьму ночную
На золотые небеса,
Одна заря сменить другую
Спешит, дав ночи полчаса...

Читал я, забыв обо всем, — читал с вдохновением, захлестнутый патриотическими чувствами и гордостью за свою Россию.

(Хорошо или плохо — не знаю!.. Знаю одно: читал категорически не так, как бормотал эту гениальную поэму один мой московский именитый коллега по Всесоюзному телевидению.

Ах, смотрите, какой я умный, какой талантливый! Я и царь Петр, я и Пушкин, я и... Петербург! И все я, я!.. Все про себя да про себя! Нет бы подумать, что читать-то следует не про себя (кому ты нужен?), а про чудотворного строителя, «чьей волей роковой над морем город основался»! И про сам город, вознесшийся «из тьмы лесов, из топи блат»! И про гений поэта, сумевшего так вдохновенно, так глубоко и нежно, с любовью и удалью воспеть одну из страниц русской истории: рождение Северной Пальмиры — Петербурга!

Любить надо все то, о чем пел Александр Сергеевич, а не притворяться, не бормотать многозначительно — дураков нынче нет! В телевизор все видно.)

И то ли в благодарность за прекрасные стихи Пушкина, то ли потому, что я затронул болезную для каждого русского эмигранта тему Родины, — а скорее всего за то и за другое вместе в зале заплодировали. Почувствовав

этот миг моей «власти» над зрителями, я продолжал:

— Да, это Петербург! Да, это Петроград! Да, это Ленинград!.. С его именем связана вся моя жизнь. И горе, и радость, и любовь, и ненависть — всё! И где бы я ни жил позже, куда бы меня судьба ни забрасывала, я любил, люблю и буду всегда любить мой родной Ленинград! Люблю единственной в жизни любовью. Как и вы, вероятно, любите свой город или место, где родились.

По лицам некоторых зрителей, особенно активно выразивших мне симпатию и дружелюбие, я понял, что в зале присутствует немало моих земляков, жадно ловивших каждое слово о Ленинграде.

Говорил я и о том, что молюсь, так сказать, сразу двум богам: работаю в театре и кинематографе одновременно. Кого из этих двух богов люблю больше, сказать затрудняюсь, но знаю твердо: чтобы быть настоящим актером, надо работать в театре.

— Театр — учреждение с режимом почти ежедневных репетиций и спектаклей — держит актера в постоянной профессиональной форме, как спортсмена ежедневные тренировки.

И творчески актеру в театре интереснее. Он имеет дело с живыми людьми, с тишиной живого зрительного зала, когда иногда артист ощущает свою «власть» над умами и сердцами зрителей. А это немаловажное обстоятельство! И те биотоки, которые идут со сцены в зал и из зала на сцену, как бы взаимообогащая и артиста, и зрителя, это не просто разговоры, пустые слова и прочее... Существует такая связь артиста и зрителя, такой редкий, но счастливый союз, когда и рождается вдохновение, происходит таинственный акт творчества.

Но и кинематограф никогда не брошу. Кинематограф могуч своим воздействием на людей! Силой и масштабом этого воздействия.

Кинематограф немедленно откликается на любое чрезвычайное событие в жизни человека... В жизни государства, общества... Кинематограф всегда на переднем рубеже жизни! И возможность мне, не артисту, а человеку, гражданину, быть на этом переднем рубеже жизни, сказать о ней свое собственное слово, заявить о своей философской позиции, о своем презрении к чему-либо в жизни устами и поступками своего героя, заявить о своей радости, гневе, боли, возмущении и т. д., конечно, почетное право... За это я безмерно люблю кино!

Но, будучи театральным артистом, снимаюсь только в свободное от театра время и снялся уже в восьмидесяти фильмах. И в это же свободное от театра время приехал в Париж, имею сейчас удовольствие разговаривать с вами.

И раз уж я начал свое слово стихами, позвольте мне и закончить его стихами Леонида Бородина:

Мы с детства в Русь вколдованы —
Лишь помни и носи!
Но судьбы уготованы,
И нет уж той Руси!
То к худшему?
То к лучшему?
Кому про то ясней?
По Пушкину,
По Тютчеву
Знакомились мы с ней.
Сквозь песни молодецкие
Мы ищем нашу Русь.
Нам бабки досоветские
Вложили эту грусть.
Но тропы опечатаны,
Не тронь! Не воскреси!
Последние внучата мы
Несбывшейся Руси!
Мне Русь была не словом спора,
Мне Русь была судья и мать!
И мне ль российского простора
И русской доли не понять,
Пропетой чуткими мехами
В одно дыхание мое!
Я сын Руси
С ее грехами И благодатями ее.
Но нет отчаянью предела,
И боль утрат не пережить —
Я ж не умею жить без дела,
Без веры не умею жить!
Без перегибов, перехлестов,
Без верст, расхлестанных, в пыли!
Я слишком русский,
Чтобы просто
Кормиться благами земли!
Знать, головою неповинной

По эшафоту простучать.
Я ж не умею вполонину
Ни говорить и ни молчать!

Проводили нас со сцены тепло и благодарно. Было очевидно, что оба мы, и Жанна, и я, что называется, «пришлись» публике.

В антракте, когда мы проходили по фойе, нас окружили улыбающиеся зрители. Благодарили, говорили комплименты, задавали всевозможные вопросы, просили автографы...

Из большинства вопросов явствовало, что ничего они не знают о нас путного, правдивого... Многим все еще казалось, что мы заорганизованные, «зашоренные» роботы, говорящие и действующие по указке и не имеющие права рассуждать самостоятельно...

Наша простота и раскованность, готовность понять шутку и шутить самим явились для них приятной неожиданностью и откровением. И это в Париже? (Не так уж и далеко от Москвы.)

«Земляки» осаждали расспросами о Ленинграде. Как выглядит Зимний дворец? В какой цвет покрашен? Остались ли торцы на Невском? Цела ли Мариинская опера? Сохранились ли после войны дворцы Царского Села, Петергофа, Ораниенбаума?..

Пришлось обстоятельно отвечать. Одна древняя старушка спросила:

— Скажите, а дом номер пятьдесят один по Литейному проспекту сохранился?

Ведь надо же! Как раз в этом доме помещался Ленинградский областной драматический театр, в котором я несколько лет работал.

— А почему это вас интересует? — спросил я.

Старушка замялась слегка и сказала:

— В некотором роде я когда-то была его хозяйкой.

Я ответил, что дом не только существует, но больше того, опасаясь неожиданного приезда «хозяйки», его не только отремонтировали, но и покрасили заново.

— А в какой цвет? — улыбнулась она.

Я ответил.

— Таким он и был при мне, — успокоилась «домовладелица».

Другая аккуратная старушенция робко «тюкала» меня по руке чем-то блестящим, стараясь обратить на себя мое внимание. Когда ей удалось это, она протянула мне клеенчатый кошелечек и сказала:

— Месье Жженов! Все у вас чего-нибудь да просят... Кто автограф,

кто что... А я хочу дать вам на память этот пустяковый кошелечек. Пусть ваша дочь хранит в нем билеты на метро.

— У нас не существует билетов на метро, — сказал я.

— Ну что ж!.. Тогда пусть существует память обо мне, — нашлась старушка.

На внутренней стенке кошелька синим фломастером слова: «Артистка Харьковского театра Е. Ещенко. Париж. 1975».

Сувенир этот моя дочь хранит по сей день.

У самого выхода из «Жар-птицы» случилось неожиданное. Когда по просьбе хозяев клуба я расписывался в книге почетных гостей, за моей спиной вдруг раздался хрипловатый возглас:

— Здорово, Жорка!

Я опешил. Не сразу дошло даже, что это могло относиться ко мне. Когда дошло, я обернулся, стараясь понять, кто бы это мог быть. Обернулись и мои спутники. Вокруг стало тихо. Все с любопытством ждали, что будет дальше.

Говорят: всякая биография на облике человека неизбежно оставляет след. Передо мной стоял человек, чья внешность целиком подтверждала это правило.

Левая рука этого человека неподвижно висела вдоль туловища. На руку была натянута кожаная перчатка. Я-то знал, что руки нет вовсе. Характерные морщины беспорядочно перекрестили когда-то холеное, красивое лицо. Кстати, сейчас его лицо нравилось мне больше, чем тогда. И глаза... Его темные семитские глаза, хитрый прищур которых и нагловатую самоуверенность погасили последующие страдания. Святая правда, что в глазах человека, как в зеркале, можно прочесть всю его жизнь!

— Гришка?! — Мы пожали друг другу руки. — Живой?

— Как видишь!

Дальше состоялся следующий диалог.

Он: — Надолго здесь?

Я: — Завтра возвращаюсь в Москву. А ты?

Он: — Я ведь теперь живу в Европе! Завтра еду в Италию, вот так!

(В этом месте, по его расчету, я должен был испытать зависть. Зависти в себе я не почувствовал.)

Я: — Да, я понимаю...

Он: — Познакомься, моя жена!

(Он представил мне женщину, которую я не запомнил. Мы поклонились друг другу.)

Он: — Может быть, тебе деньги нужны?.. Долларов двести могу ссудить.

(Вопрос явно был рассчитан на публику.)

Я: — Спасибо, Гриша. Свои финансовые дела я вчера еще закончил. Лучше побереги доллары для себя — пригодятся.

Он: — Как знаешь!

(Мы оба молча смотрели друг на друга и не знали, о чем нам говорить дальше.)

Я: — Чувствуешь себя как? Как здоровье?

Он: — Спасибо. Теперь хорошо. А ты? Неплохо выглядишь!

Я: — На Севере мясо не портится!.. Сам знаешь...

Он: — Еще как знаю!..

(Опять замолчали. Становилось как-то неловко... Не про погоду же начинать!..)

Он: — Ну что ж, ладно, привет!..

Я: — Привет. Прощай!

На мое «прощай» Гриша усмехнулся иронически, мы пожали руки друг другу и разошлись.

Мои спутники продолжали вопросительно и с любопытством смотреть на меня. Я все еще не мог окончательно прийти в себя.

— Братцы! — наконец сказал я. — Какой потрясающий сюжет в голове... Грандиозно!.. И название уже придумал: «От «Глухаря» до «Жарптицы»».

2

«Дорога в ад устлана благими намерениями» — гласит поговорка.

В день Первого мая за «благие намерения» я получил подарок от своего начальника — очередные десять суток карцера с последующей отправкой на штрафной прииск. Моя «дорога в ад» началась в гараже районной экскаваторной станции (РЭКС) и, пройдя «душечистилице» лагерного карцера, закончилась на вахте штрафного прииска «Глухарь», прилепившегося у самого перевала к каменистому, поросшему мхом склону сопки.

Тот злополучный день начался как обычный трудовой день... Первомайский праздник на заключенных не распространялся, лагерь работал как всегда.

Массовый взрыв уже состоялся. Экскаваторы ППГ трудились вовсю.

Пыхтели, скрежетали по вечной мерзлоте ковшами, очищали подошву забоя от взорванных пустых пород (торфов). За бортом забоя росли огромные отвалы мерзлой породы. Вездесущие лоточники, как навозные жуки, уже копошились в них в поисках золота.

Стояла глубокая оттепель. Днем таяли снега, начали оттаивать забои. Вот-вот начнется промывочный сезон.

Начальство всячески торопило с окончанием вскрышных работ, поэтому в праздничный день работали не только заключенные, но и некоторые вольнонаемные, без которых нельзя было обойтись.

В гараже, где я работал единственным диспетчером, уже с утра все пошло наперекосяк. Машины, развозившие экскаваторам топливо и воду, обслуживали вольнонаемные водители. Некоторые из них не вышли в этот день, видно, еще с вечера начав отмечать праздник, а от тех, кто явился, проку оказалось не много: после нескольких утренних рейсов в забой, к экскаваторам они ухитрились набраться так, что засыпали у диспетчерского столика, пока я отмечал им путевые листы. Приходилось самому садиться за баранку и выручать товарища.

Вот я и мотался туда-сюда, пытаюсь предотвратить простои экскаваторов, рассосать ситуацию в надежде, что мои «павшие» проспят и вернутся в строй. Но много ли я мог сделать один, когда со всех участков забоя, как сигналы бедствия, неслись тревожные гудки экскаваторов, требовавших воды и топлива.

Грешным делом, к полудню я и сам не удержался — причастился! Сердобольные «вольняшки» преподнесли и мне чарку — поздравили с праздником.

С нами старались не иметь никаких контактов только те «вольняшки», кто завербовался на «материке», заключив «полярный договор» с Дальстроем, кто приехал на Колыму за «длинным рублем» или по каким-нибудь иным причинам, известным только им самим и никому больше. Но таких почти и не было на простых физических работах. Они или занимали командные, начальственные должности, или, если возраст соответствовал, а специальной брони, дающей отсрочку, у них не имелось, были призваны в армию и воевали сейчас на фронтах Великой Отечественной.

Как назло, и погода фокусничала: чередовала солнечные прогалы с такими снежными зарядами, что в шаге от себя ничего нельзя было разобрать за сплошной стеной хлопьев мокрого снега.

Когда заряд кончался и на короткое время показывалось солнышко, кругом опять стояла первозданная целина.

Нелепой, чужеродной казалась вдали громада орущего экскаватора,

невесть как оказавшегося в сияющем сказочном царстве нетронутого снега — ни следов, ни дорог, ничего!..

В один из таких «слепых» рейсов меня и угораздило наткнуться на своего начальника, когда, сбившись с пути, я кружил на одном месте в поисках дороги.

«Моя судьба» поджидала меня на обочине, у дорожной вешки, торчащей из снега, и семафорила рукой, приказывая остановиться. Ничего хорошего встреча не сулила, я понимал это. В чистом колымском воздухе запах алкоголя, принятого мною сегодня, мог перебить разве что запах керосина или жареной нерпы... Но нерпы не было, а керосином запахло в фигуральном смысле — нюх у моего начальника был не хуже, чем у добермана.

— А ну, постой-ка... постой! Притормози. Ты чего это кружишь? — Он подошел к кабине.

— Заблудился... — стараясь не дышать в его сторону, ответил я. — Сами видите — кругом бело, дорог никаких!.. Того и гляди, загремишь в забой вместе с машиной. Не подскажите, гражданин начальник, как проехать на пятый?.. Везу топливо экскаватору.

— А почему за рулем? Кто разрешил? Где вольный водитель? — Он подозрительно приглядывался ко мне.

— Водитель? Дома, наверное, — сегодня же праздник! На работу не вышел, вот я и езжу. Не стоять же экскаватору.

Не зря я боялся — начальник унюхал-таки запах алкоголя.

— Пьяный?! — аж задохнулся он и без всякого перехода, как это часто бывало с ним, заорал: — Заблудился! Дорогу тебе подсказать, негодяй?! В такой день напился, позор! А ну, вылезай из кабины, алкоголик!

Остановить его теперь было невозможно — начальник «пошел вразнос»... Я повиновался, вылез из машины — от судьбы не убежишь.

— Он заблудился! Дорогу потерял! Ничего, я выведу тебя на чистую воду... Я подскажу тебе дорогу, негодяй! — Начальник никак не мог вытащить из кобуры огромный ржавый пистолет. — На вахту, шагом марш!

— Воду бы спустить на всякий случай... — Я показал рукой на машину.

— Не твоя забота, шагай! — Он ткнул меня пистолетом в спину.

— Спрячьте пушку-то, гражданин начальник! Не смешите людей. С такими игрушками не шутят.

— Молчать! Пристрелю!

— Стреляй, спина широкая... Ну! — вдруг с какой-то забубенной удалью закричал я, теряя контроль над собой.

— Молчать!

— Не замолчу! — Я уже не боялся его.

Отчаяние, гнев, обида, годами копившиеся во мне, рвались наружу. Выпитый спирт только придал храбрости — верно, что пьяному море по колено... Я понимал, что жгу корабли, но уже ничего с собой поделатъ не мог, меня прорвало.

— Ты как со мной разговариваешь, негодяй? — Начальник захлебнулся от ярости.

— Не нравится, да? — кричал я. — А мне, думаете, нравится, как вы годами измываетесь надо мной, за что?.. Вам нравится, что я послушно ищачу, как бесправный раб? Вы привыкли к этому? Потому и таскаете за собой, как собственность... Я вам не собака — хочу казнь, хочу милую! Я человек, а не скотина, запомните это! Он пристрелит меня! Мало, видно, понастреляли за эти годы — все еще руки чешутся, да? Ну и стреляйте, чего боитесь? Вам за это только лишнюю бляху повесят на грудь «за храбрость», одним контриком меньше! Знаем, как это делается: «Убит при попытке к бегству», подпись, печать, и всё — хана! Человека как и не бывало, остался один акт! А что? Нас двое в поле, кругом снег, свидетелей, кроме Бога, никаких, кому верить? Вам, конечно, — Бог нынче не в счет.

Подумаешь, преступление, выпил! Угостили. Сегодня Международный праздник трудящихся всего мира! А кто я такой? Самый настоящий трудящийся. Значит, и праздник мой! Где сказано, что он только для «вольняшек»? Спасибо, нашлись добрые люди, догадались — поздравили. Это от вас не то что благодарности — прошлогоднего снега не дожدهшься. Вы только пугать и умеете: карцер, срок, пристрелю! Знаете свое «давай-давай»... Хотя бы когда сказали «на, возьми» или «спасибо»... Что я выпил, вы унюхали, а вот что я вкалываю за другого дядю, вам невдомек! Где же ваша совесть?

Кто заставляет меня делать чужую работу — возить по забоям топливо? Никто. Это не моя забота. Экскаваторы встанут? Ну и хрен с ними, пусть стоят! Что мне, больше всех надо? Это — ваше дело. Вы начальство — вам и думать! За это вам деньги платят! Однако я, как божья коровка, ползаю с утра по забоям, а почему? Потому, что совесть моя не позволяет равнодушно слушать, как трубят экскаваторы, понятно? Только не у всех она, видно, есть, совесть!

Один мой следователь хвастался, что у него вместо совести х... вырос! Вот так, гражданин начальник! И не пугайте меня, бесполезно, ничего не выйдет! Больше, чем меня напугали в 1938 году, уже не напугаешь.

Я выплеснул ему в лицо все свои обиды, накопившиеся за годы

вынужденного «мирного сосуществования» с ним. Я не боялся, что в сердцах он может пристрелить меня, — такого за ним вроде бы не водилось, хотя с нервами было далеко не в порядке — психовал он часто. Сейчас он еле владел собой. Разозлил я его ужасно.

Не задумываясь, он застрелил бы меня, если бы нашел в себе силы переступить через себя, через свою природу. Это-то сознание бессилия и приводило его в исступление больше, чем слова, в выборе которых я не особенно стеснялся, так как и сам сейчас не очень владел собой.

Ему необходимо было сорвать свою злость, облегчить душу — своей ярости он искал выход. Он материл меня последними словами, искал способ чем-нибудь донять и нашел наконец!

Не доходя до вахты лагеря, закричал коменданту:

— Парикмахера сюда, немедленно!

А когда парикмахер явился, выхватил из его рук машинку, толкнул меня на пенек у вахты и с каким-то сатанинским наслаждением принялся стричь мне волосы на голове.

Волосы, отросшие за время диспетчерства и чудом убереженные от парикмахера в дни обязательных банных стрижек в лагере.

Волосы — признак вольного человека!

Длинные волосы — иллюзия свободы! Мечта и гордость каждого заключенного!

Нашел все-таки мою болевую точку... Закончив экзекуцию, вынес приговор:

— В карцер! На десять суток.

Так в дни Первомайских праздников 1943 года я оказался в лагерном карцере прииска имени Тимошенко, в неунывающей компании «блатных». Надо отдать им должное, в критических ситуациях они не теряются, не раскисают, не поддаются отчаянию и не празднуют труса. Лагерь для вора — дом родной! Не потому, что там сладко, там очень несладко, но там привычно. Лагерь — постоянная среда обитания людей этой древней профессии. Жизнь вора — детективный фильм в пяти сериях: преступление, арест, тюрьма, суд, лагерь. А освобождение или побег — всего лишь антракт между двумя очередными сеансами. Долго он не длится даже у самых удачливых: опять следуют преступление, арест, тюрьма и т. д. И все повторяется сначала, или, как воры говорят, «по новой»... Исключения составляют «завязавшие», мне встречать таких не доводилось. Воры — как волки: долго не живут и почти не приручаются. Но их сила воли, их живучесть поражают. Они умеют терпеть физическую боль, переносить болезни, голод, произвол охраны... Нельзя не восхищаться их

стойкостью. Честный вор (вор в законе) товарища в беде не оставит — разделит с ним последний кусок хлеба. Воры в законе — своеобразное братство, масонская ложа со своим кодексом чести, со своими воровскими законами. Жестокими, жуткими, волчьими... но не шакальими. Полное презрение к материальным ценностям, к деньгам. Деньги шальные — улетят, прилетят, как голуби! Никакого крохоборства, на карту ставится все...

Среди воров много одаренных от природы натур, талантливых, сильных, умных. Трагично, что эти недюжинные качества получали такое уродливое выражение в жизни.

Артистов они любят. Меня приняли нормально, хотя я для них никто — фраер. Даже потеснились на нарах, и в этом было спасение, поскольку, сидя в карцере в одиночку, можно запросто «дать дуба» от холода. Майские вечера на Колыме — не вечера на хуторе близ Диканьки, мороз ночью лютей! А дров нам полагалось всего восемь килограммов на сутки. Эту «пайку» берегли на те минуты, когда засыпали. Все остальное время ночи обогревались друг о друга.

Наше еще счастье, что карцер мы получили с выводом на работу. Рано утром конвой забирал нас и гнал в забой. Понукать и подбадривать не было нужды — выскакивали «из кандея», как пробки из бутылок.

Очередные десять суток, которыми наградил меня начальник лагеря за мое трудовое усердие, мне предстояло отбыть от звонка до звонка. Как говорится, час в час, минута в минуту. Не девять и не одиннадцать суток, а ровно десять. Старший лейтенант Лебедев Николай Иванович своему характеру не изменял никогда. Рассчитывать на его милосердие не приходилось.

За три с лишним года, что он таскал меня за собой по всей Колыме, куда бы его ни переводили по службе, я заработал от него в знак особого к себе расположения суток двести карцера, не меньше. И отсидел бы их все сполна, если бы не научился вовремя исчезать с его глаз, пока он кричал и ругался, до появления коменданта или охраны. Был он вспыльчив, но отходчив — не видя перед собой объекта раздражения, скисал, гнев его мгновенно испарялся.

Справедливости ради надо сказать, что человек он был незаурядный и в своем роде обаятельный.

Прекрасный организатор — решительный, энергичный. Не давал покоя ни себе, ни другим. Мучил всех. Сутками не вылезал из забоя — подгонял, проверял, требовал... Непонятно было, когда он спал.

«Чума» — так прозвали начальника за непредсказуемость его поступков. Никогда нельзя было угадать, как он поведет себя в тот или

иной момент. Его часто захлестывали эмоции.

...В лагерь привезли бильярд! Кому это пришло в голову, неизвестно — акцией ума этот факт не назовешь. Скорее всего это был знак расположения кого-то к кому-то и за что-то. Факт остается фактом — бильярд появился. Ясно, что это была мера поощрительная — ну, скажем, реакция культурно-воспитательной части МАГЛАГа на трудовые успехи лагеря. Бильярд не настоящий, но и не игрушечный. Шары не костяные, но и не металлические — так, ни то ни се, эрзац, но играть можно.

Специально для него распорядились построить на открытой площадке лагеря навес от дождя. Начальник радовался больше всех.

С кием в руке я и увидел его, когда, выпавшись после ночной смены, вышел из барака. В измазанных мелом галифе он кружил с видом победителя вокруг бильярда и легко, с прибаутками обыгрывал каждого, кто пытался соперничать с ним. Роль чемпиона ему нравилась, он был в прекрасном настроении. Заметив меня, предложил и мне сразиться с ним. Я согласился (разве откажешь начальнику?).

— Американку, пирамидку? — высокомерно спросил он.

— Как угодно, гражданин начальник! — скромно ответил я и добавил: — Если в пирамидку, даю вам не глядя десять очков форы.

— Во нахал, во нахал! Все слышали, да? Так! Ладно, принимаю условие. Посмотрим... Начинай!

Школа, которую я прошел в свое время у маркера Дмитрия Михайловича Иванова (знаменитый Митя Сапожок) в Ленинграде, сделала свое дело — партию я у него выиграл.

— Давай ставь следующую. И не нужна мне твоя фора — играем на равных! — Начальник мрачнел.

С каждым положенным мною в лузу шаром барометр его настроения стремительно падал, предвещая бурю... Вокруг нас собирались любопытные. Мне бы, дураку, проиграть ему, а я опять выиграл. В середине третьей партии, поняв, что и ее проигрывает, начальник зловеще оглядел меня с ног до головы и спросил:

— А почему ты не на работе?

— Я же в ночную смену, — опешил я.

— Я покажу тебе ночную смену, бездельник! Дармоед! Комендант! — закричал он. И когда тот подошел, начальник, тыча мне в грудь кием, приказал: — В карцер его!

Так до вечернего развода я и просидел там — не выигрывай у начальства!

Какое-то время мне посчастливилось работать водителем в РЭКСе. В мои обязанности входило возить топливо и воду экскаваторам ППГ. Начальник сообразил, какая ему от моей работы может быть выгода.

— Слушай, Жженов, — обратился он ко мне как-то на разводе. — По твоей статье тебе полагается быть в забое на общих, и нигде иначе, а ты где работаешь? То-то! Не забывай это и помни, что ты в лагере живешь — лагерь твой дом, а не РЭКС! Зима на носу! Дрова нужны и на кухню, и в бараки. Что тебе стоит сделать одну-две ездки? Ты же хозяин на машине! Понял меня?

Я передал этот разговор начальнику РЭКСа и попросил разрешения сделать несколько ездок с дровами в лагерь.

— Ты же недавно возил дрова в лагерь? — удивился он.

— Выходит, мало, — ответил я.

— Да пошел он к...! Пусть сам обращается ко мне. Нечего зека шантажировать! Так и передай ему.

Ничего, конечно, передавать я не стал, а при первом же удобном случае закинул несколько машин с дровами в лагерь, на свой страх и риск. Начальник РЭКСа узнал об этом самовольстве и снял с машины — разжаловал меня в слесари. Спасибо, что не выгнал совсем, а перевел в гараж на ремонтные работы. Там на меня случайно и наткнулся начальник лагеря. Я лежал под машиной в холодном, обледенелом гараже и крутил гайки — наружу торчали только ноги...

— Эй, кто там? Чьи ноги? — Он постучал валенком по моим ногам.

— Мои, мои... — Я выглянул из-под машины.

— Жженов, ты? — удивился он. — Что ты тут делаешь?

— Что я делаю? Отбываю наказание.

— Не понял. Какое наказание?

— Расплачиваюсь за самовольство.

— Тебя сняли с машины? За что?

— За дрова. За что же еще?.. Вы же советовали не забывать дом родной.

— Ах, вот оно что! За это лучшего моего работягу под машину? — изъясился начальник. — Это что же такое делается! А ну, марш в лагерь сейчас же! Я покажу ему, как моих работяг морозить! Снимаю тебя с этой работы. Пускай «вольняшки» на него ищачат! Иди, иди!.. — И он побежал в контору РЭКСа.

Как они объяснялись друг с другом, оба моих начальника, неизвестно, а вот результат их встречи аукнулся мне уже на следующий день...

Нарядчик, проводивший утренний развод, вместо РЭКСа отправил

меня в забой на общие.

«Паны дерутся — у холопов чубы трещат!»

Однажды ночью вблизи прииска случился пожар. Горела сопка, поросшая стлаником. Хвоя вспыхнула, как порох, мгновенно опоясав огненным кольцом всю сопку. Огонь, набирая силу, скатывался все ниже и ниже к подножию сопки, угрожая приисковым строениям: эстакадам, сплоткам, буторным приборам, транспортерам — всему деревянному хозяйству прииска. По тревоге были подняты на ноги все. И вольные, и заключенные, и вохра... Тысячи людей, хватая кайла, лопаты, ведра, полезли на сопку навстречу пожару... Несчастье сплотило всех.

Николай Иванович, конечно, был в первых рядах «атакующих». Закопченный, страшный, в обгоревшей шинели, вымазанный в грязи и саже, вымокший... Размахивая какой-то парусиновой хламидой, он бросался на огонь и, как хитрый полководец, не теряющий разума в исступлении боя, охрипшим голосом командовал своей верной гвардии: «“Вольняшки”» на х...! Заключенные, за мной! Вперед! Ура!»

К его чести надо сказать, что в отношениях с людьми он не делал разницы между вольнонаемными и заключенными, когда дело касалось работы.

«Вольняшки» недолго любили его за настырный, беспокойный характер и побаивались.

Зеки, наоборот, хотя и терпели от него многое, уважали, инстинктивно чувствуя отсутствие личной корысти в его одержимости.

Мерил он всех одной меркой — работой. Если ты постоянно выполнял дневную обязательную норму, а не дай бог, еще и перевыполнял — ты ему лучший друг. К таким, кто по неопытности или по жадности нес ему золота больше нормы, демонстрировал личное расположение. Немилосердно льстил, поощрял продуктовыми подачками из ларька — спиртом или махоркой (по курсу: грамм золота — грамм махорки). Упаси бог было смалодушествовать и польститься на его щедрость. Начальник быстро привыкал к новой порции и уже требовал ее перевыполнения, и так без конца... Он забывал, что перевыполнять норму постоянно нельзя. Часто это даже не зависело от самого работающего даже: ведь содержание золота в жиле непостоянно и неравномерно (то густо, то пусто)... А если ты лоточник — моешь золото лотком, то не последнюю роль играет еще и везение, случай. Начальник все это прекрасно знал, но... «забывал»! Когда же обласканный, вывернутый наизнанку зек возвращался к первоначальной, минимальной норме — лишал его своих милостей, попрекал как бездельника и грозил карцером.

Начальник придумал «ежедневный субботник»... Обложил лютым оброком всех, кто непосредственно не работал в забое, кто не мыл золото лотком или на проходнушках. Всю лагерную службу и всех придурков обязал под страхом «кандея» ежедневно в течение всего промывочного сезона после основной работы в зоне лагеря выходить в забой.

Золото, золото... Кровь из носу, а подай золото! Ищи где хочешь, когда хочешь и как хочешь, но двадцать граммов отдай!

Бдительно следил за всеми, кто ловчил и изворачивался, кто заставлял других ишачить вместо себя. Таких, если удавалось поймать, беспощадно гнал с блатных, насиженных мест на общие работы.

Зачем, например, хлеборезу, врачу или нарядчику корячиться в забое самому? Любой работяга-лоточник за лишний кусок хлеба или освобождение от работы с радостью будет снабжать их металлом — подумаешь, двадцать граммов!

Каждое утро в тазике у дневального после мытья пола в бараке оставалось 3–5 граммов золота, занесенного из забоя на обуви и одежде работяг.

В Омчагской долине, или в «долине маршалов», как ее называют, на приисках имени Буденного, Ворошилова, Гастелло и Тимошенко золота было много. Брали его, как и везде на Колыме, хищнически, брали, где легче, не заботясь о будущем, лишь бы дать план, задобрить начальство.

Теперь, через много десятилетий, с великими затратами перемыывают то, что тогда бездумно ушло в отвалы.

Шутка ли... Одними «ежедневными субботниками» Николай Иванович Лебедев ухитрялся приобщить к производственному плану прииска более десяти килограммов золота ежедневно!

Энтузиаст и идеалист, он «кнутом и пряником» пытался бороться за честный труд, за чистоту нравов в лагере. С одной стороны, на вечерних поверках произносил зажигательные речи, обращенные к патриотическим чувствам и гражданскому сознанию подчиненных ему зеков, с другой стороны — всех устрашал вывешенный на самом видном месте перед вахтой для обозрения грозный приказ, категорически, под страхом смерти запрещающий пронос металла из забоя в зону.

Его филантропические усилия успеха почти не имели. Разве что лишний раз застревали в мозгу той части безвинных зеков, которой и без его проповедей не чужды были патриотические чувства. Но, к сожалению, они являлись лишь частью «ноева ковчега», бесправной его частью. Власть в лагерях принадлежала уголовникам, начиная с матерых бандитов-рецидивистов и кончая бытовыми преступниками. Призывы к их сознанию,

по меньшей мере, наивны. Всем давным-давно известно, что наши исправительно-трудовые лагеря еще никого не исправляли, а если и перевоспитывали, то скорее в обратном порядке, превращая неопытных дилетантов в профессионалов-рецидивистов с гулаговскими «дипломами» специалистов узкого профиля: ширмачей, домушников, скокорей, щипачей, ключников, мокрушников и прочей сволочи... «Друзья народа», свившие уютные гнезда в лагерях, терроризировавшие всех и вся, на приказ у вахты не обращали внимания. В угрозу расстрела не верили. Золото как несли, так и продолжали нести: оно заменяло деньги. На него выменивалось все: и пища, и табак, и одежда.

Как-то он заявился в барак, где я дневалил, и шепотом, чтобы не разбудить спящих, вызвал в тамбур. Было около полуночи...

— Здравствуйте, гражданин начальник!

— Здравствуй, здравствуй, — сказал он, — как твоя рука?

— Спасибо. Ничего. — Я пошевелил пальцами. — А что, пора уже и в забой, да?

— Не спеши, покантуйся еще малость, успеешь, наработаешься! Я не к тому...

К тому не к тому, а чего-то он явно недоговаривал. Я молчал. Ждал...

Руку мне сломали. И сломали дважды. Сначала в забое, в драке, а вскоре, когда она начала срастаться и подживать, снова сломали, уже в бараке, и опять в драке (я ударил вора). Блатные распяли меня, как Иисуса Христа, на крестовине нар и заново разломали руку, обе кости (фраер не имеет права бить вора).

В обоих случаях виноват я не был, просто не стерпел оскорбления. Начальник разобрался беспристрастно, сочтя меня правым в этой истории, потому и не выгнал со сломанной рукой в забой, а разрешил до выздоровления быть дневальным в бараке, где жила бригада лоточников, в которой я работал до болезни.

— Понимаешь, какая штука, — заговорил он. — У меня на весах сейчас одиннадцать кг девятьсот шестьдесят г. С любой добавкой все равно это звучит как одиннадцать, верно ведь? И совсем другое дело — двенадцать!.. Чувствуешь?.. ДВЕНАДЦАТЬ!! И звучит иначе — солидно, понимаешь?

— Понимаю. Только к чему вы?..

— Выручай... Позарез нужно сорок грамм металла, понимаешь?

— Понимаю. Только где я возьму эти сорок грамм?

Мой вопрос он оставил без ответа. Будто и не слышал вовсе, продолжал:

— Мне через час рапортовать надо! Сводку в Магадан передавать, понимаешь? А у меня одиннадцать кг девятьсот шестьдесят г. Сорок грамм не хватает до ДВЕНАДЦАТИ, понял?

— Давно понял. Только где я их возьму? — как дятел, долбил я.

— Где? — зашипел начальник и показал пальцем в сторону спящих: — Вон где! Там, у любого работяги! И брось дурака валять! Я буду его учить, у кого, где? — Он начал заводиться. — Он, видите ли, не знает, где...

— Вы на что намекаете, гражданин начальник? Неужели вы думаете, что кто-то посмеет нести металл в зону? Вы что, своих приказов не читаете? «За грамм пронесенного в зону лагеря металла — расстрел!» — продекламировал я ему.

— Пошел ты... Дашь или нет, отвечай? — Злить его дальше становилось рискованно, начальник мог взорваться.

— Ладно. Не сердитесь, гражданин начальник, подчиняюсь... делать нечего. Пойду в забой сам на ночь глядя. Прикажете вахтерам выпустить меня из зоны. Не жаль вам инвалида однорукого! — запричитал я.

— Не придуривайся, не придуривайся... Не считай меня идиотом! Жду тебя в ларьке... с металлом! — И, совсем уже уходя, пообещал: — С меня полкружки спирту.

Он понял, что сорок граммов золота я ему принесу.

Как только ушел начальник, я тихонько разбудил одного из работяг и попросил одолжить мне граммов пятьдесят металла. Пробормотав спросонья что-то нечленораздельное, он махнул рукой в сторону потолка над собой и тотчас заснул снова.

Пошуровав на ощупь за воценой бумагой из-под аммонала, которой был обит потолок в бараке, я достал бумажный конвертик (капсюль), отсыпал из него на глаз граммов пятьдесят золота на ладонь, завернул в тряпицу и положил в карман. Капсюль с остатком металла засунул на прежнее место. Не спеша надел телогрейку, взял лоток и скребок в тамбуре и направился к вахте.

За вахтой, делая вид, что иду в забой, отошел шагов на пятьдесят, лишь бы меня не было видно вахтерам, разыскал подходящий камушек, сел на него, закурил, задумался...

Стояла тишина. В белесых сумерках летней полярной ночи спал лагерь, умаявшись за долгий трудовой день...

Не спали лишь охрана да начальник, дожидаящийся золота в лагерной каптерке... Не спал я, делая вид, что в поте лица своего мою в ночном забое это самое золото, недостающее ему до полного счастья! Все идет своим чередом: бежит время, летят года! Хочешь остаться в живых,

вернуться домой, хочешь увидеть близких тебе людей — не задумывайся, не береги себя, соблюдай правила игры — делай вид!

Незаметно подкралась, подползла тоска. Стало невыносимо грустно... Опять заскребло, заныло в груди, захотелось поднять голову и закричать! Истошно, по-звериному! Пожаловаться небу, излиться в холодные глубины звездного мироздания! Навсегда исторгнуть разъедающую душу боль обреченности!

Что же они делают с нами? Когда это все кончится?

Мое счастье, что в такие минуты вся боль души моей — отчаяние, надежда, одиночество, жажда жизни, любви — каким-то непостижимым образом рвалась наружу не криком и не слезами, а в словах! Слова! Спасительные слова, рождаясь на свет, искали друг друга, тычась, как слепые котят, роились, множились... В хаосе бесчисленных комбинаций, рожденных воображением, творили себе подобных, соединялись в смысловые сочетания, продирались сквозь строй самокритичных «шпицрутенов» и, облагороженные рифмой, музыкой, ритмом, образностью, становились наконец стихами...

Не ахти какие по таланту (это от Бога) — наивные, но честные, чистые... Спасительные в момент депрессии, душевного мрака, когда от самоубийства человека отделяет всего лишь шаг. Стихи, возвращающие надежду, помогающие терпеть.

Закрою глаза, и вновь снится
Прозрачная сказочность гор,
И иней на длинных ресницах,
И глаз незнакомых укор...

И кажется, звездной кометой,
Упав с бирюзовых небес,
Мелькнула, и призрачным светом
Зажегся серебряный лес.
Погасли глаз милых зарницы,
И нет ничего впереди,
И только подстреленной птицей
Колотится сердце в груди...

И снова по трассе таежной
Ползти от кювета в кювет...
Ведь юноше с «черною» кожей

Не может быть счастья и нет!

Долгие страдания не свойственны молодости, несчастья забываются. Жажда жизни, ее простые радости берут верх... А легкомыслие и некоторая авантюристичность, азартность моей натуры помогли принять предложенные правила игры. Через год-два я уже постиг законы лагеря. Жил сегодняшним днем! Жил, не заботясь о том, что будет завтра, — сегодня цел — и ладно...

Выражаясь языком блатных, из «чистого» фраера я постепенно становился «мутным» фраером, то есть человеком опасным, с которым лучше не связываться: он может дать сдачи, постоять за себя.

Но все ли из нас разделяли эти неписанные законы... Не каждый очутившийся во власти ГУЛАГа считал возможным принять жестокие правила игры, предложенные лагерным «катехизисом», выстроенным по принципу: «Лучше умри ты сегодня, а я — завтра!»

Сколько прошло перед моими глазами людей, которые погибли, так и не осилив Дантовы круги колымского ада! Людей честных, глубоко чувствующих, интеллигентных... Они погибали не от физического истощения, нет! Суровый климат, цинга, дистрофия, произвол уносили, конечно, жизни многих хороших людей, но эти чистые души уходили, не пережив крушения ими же воздвигнутых идеалов, крушения собственной веры. Уходили тихо, без борьбы, и никакие самые «гуманные» условия лагеря не могли зарубцевать смертельных ран, нанесенных достоинству человека, его чести.

...Цигарка докурена, пора возвращаться! В первой попавшейся луже отфактурил лоток и скребок, изрядно намочив их в грязной жиже, для вящей убедительности выкупал и тряпку с золотишком и бодрым шагом направился в каптерку в предвкушении обещанной мне полкружки спирта — начальник свое слово держал всегда.

3

Поначалу это был один из пяти участков прииска имени Тимошенко. Никакой не штрафной, а самый обычный: самый верхний в распадке и самый удаленный от комендантского лагеря, где содержалась основная рабочая сила прииска — несколько тысяч заключенных.

Кроме виляющей по каменистому распадку пешеходной тропинки, никаких дорог туда не было. Если на других участках прииска, имевших

подходы и подъезды, начала появляться различная горнорудная техника, облегчавшая труд, то на «Глухаре» ее и в помине не было, за исключением той, что мог перетащить на себе сам человек или вьючная лошадь.

Добыча золота велась там дедовским способом, по старинке — лом, кайло, лопата, тачка... Остальное — мускулы... «ЧТЗ» — горько шутили зеки, уподобляя забойщика продукции Челябинского тракторного завода.

Заключенные комендантского лагеря, работавшие на «Глухаре», ежедневно брели под конвоем пять километров туда и после двенадцатичасового тяжелого труда в забое спускались обратно в лагерь...

Очень скоро такая «утренняя гимнастика» по камням распадка оказалась не под силу даже самым молодым и выносливым...

Сидевшие по пятьдесят восьмой статье (а их было большинство на прииске) не относились ни к молодым, ни к выносливым — эти люди на воле представляли мозг государства, а не его руки! Условия лагерей Дальстроя для них оказались непосильны. Очень скоро люди стали сдавать, превращаться в доходяг, увеличивая и без того огромный процент приморенных режимом.

Николай Иванович Лебедев понимал многое. Ему и пришла в голову идея организовать в верховье распадка, рядом с забоем, где велась добыча золота, отдельный лагпункт, чтобы, во-первых, не тратить напрасно время на выматывающую людей дорогу, во-вторых, туда легко будет ссылать всех мешающих нормальной жизни лагеря... Всех неугодных, всех, кто не хочет или не может работать в забое.

Среди лагерного начальства все чаще попадались люди, изверившиеся в разумности исправительно-трудовой политики ГУЛАГа, поощрявшей совместное содержание уголовников и политических...

Мне казалось, что и Николай Иванович понимал, что, несмотря на отлаженный годами механизм власти, действительный хозяин в лагере не он и не честные работяги, как ему думалось и хотелось, а уголовники... Они хозяева положения!

Монаршья власть в лагерях принадлежала «элите» уголовного мира! Матерым бандитам, ворам-рецидивистам, бытовым преступникам — жуликам, аферистам, взяточникам... Они были истинные хозяева! Они вели себя как волки в овчарне, эти выродки, мразь, отбросы общества.

Идею создания штрафного прииска в Омчагской долине поддержали все. У каждого начальника паразитирующей «шоблы» накопилось достаточно, и каждый мечтал от нее избавиться.

В выбранном месте наспех соорудили бараки, кухню, несколько служебных помещений, вахту... В небо поднялись колокольни сторожевых

вышек. Через несколько дней из лагеря приисков имени Буденного, Ворошилова, Гастелло, Тимошенко пригнали этап «новоселов» — человек четыреста неугодных своему начальству зеков с постельными принадлежностями на спинах, с жалкими личными пожитками в руках.

За ночь зону опутали колючей проволокой, как рождественскую елку канителью... На вышки забралась «муэдзины» с автоматами, зашевелились перед вахтой охранники в новеньких полушубках, залаяли собаки...

Для Николая Ивановича существование под боком «Глухаря» оказалось как нельзя кстати. Он сплавлял туда всех блатных, не желавших ни перевоспитываться, ни работать. Он ненавидел их! Выметал из лагеря беспощадно. Пачками гнал под конвоем на «Глухарь».

Настал наконец день, когда и мои десять суток наказания пришли к концу. Конвой вывел всю нашу блатную компанию из карцера и повел мимо забоев вверх по распадку, по берегу очнувшегося от зимней спячки ключа, к самым его истокам, в сопки... Там, у перевала, оцетинился колючей проволокой на все четыре стороны света мой новый родной дом — штрафной лагерный пункт «Глухарь».

У вахты произошло недоразумение: начальник «Глухаря», неприметной внешности офицер с лейтенантскими погонами, сухощавый, подтянутый, увидев меня, опешил:

— А ты чего здесь?

Приняв от конвоира сопроводительные документы, он передал их коменданту. Блатных увели в лагерь. У вахты мы остались вдвоем.

— Ты ко мне, что ли? — Он озадаченно смотрел на меня.

— К вам, гражданин начальник! — Я улыбался, понимая его недоумение.

— Гражданин?.. — Он растерянно оглядел меня... заметил стриженую голову. — Так ты заключенный, что ли?.. Вот это номер... А я за «вольняшку» тебя принимал!.. Ай-яй-яй-яй-яй!..

Лейтенант Габдракипов Сергей Халилович знал меня. Он часто обращался в РЭКС по всяким транспортным вопросам. Как диспетчер, по мере возможности я всегда помогал ему. Мне нравилась его манера вести себя. Держался он со всеми ровно, вежливо.

Взяв на вахте сопроводительный документ, он внимательно прочел его, озадаченно посмотрел мне в лицо.

— Знаешь, что тут написано о тебе? — Я отрицательно покачал головой. Он зачитал: — «Использовать исключительно на общих подконвойных работах, впредь до особого распоряжения. Старший лейтенант Лебедев». За что он тебя так?

Я пожал плечами: что сказать ему? Мы оба молчали. Бедный Габдракипов!.. Он не знает, как ему вести себя со мной дальше...

— Ну что ж, ладно, — наконец произнес он, — проходи! Что-нибудь придумаем.

Придумал он не сразу.

Поначалу я угодил в забой на общие, гонял тачку... Промывочный сезон только начался — шло первое золото... Бригада, в которую я попал, работала звеньями по три человека. Каждой тройке отмерялся свой участок забоя, своя дневная порция... Двое кайлили оттаявшую породу, загружали лопатами в тачку, третий отгонял груженую тачку по деревянным трапам, проложенным по подошве забоя, на транспортерную ленту (единственная механизация в забое). Дальше порода двигалась по ленте к бункерам, высыпалась туда и попадала на наклонную плоскость, застланную дырчатыми железными листами (грохота). Здесь и происходила буторка породы.

Сюда же по сплоткам (деревянными желобам) подавалась из ключа в распадке вода, размывая ползущую по грохотам породу. Помогала специальная бригада буторщиков, вооруженных шестами с лопатками на конце, наподобие тех, которыми орудуют крупье на игорных столах в рулетку (только больших размеров). Они беспрерывно толкали ползущую породу навстречу течению воды, способствуя промывке. Золото, как более тяжелое, оседало на торцах деревянных колабашек, на веревочных и матерчатых матах, разостланных под грохотами, все остальное уходило с водой в отвалы пустой породы.

По окончании смены подача воды уменьшалась, поднимались грохота, из-под них вынимали маты и торцы, золото с них стряхивали на настил, застрявшие частицы окончательно выполаскивали малой водой. После этого вода перекрывалась совсем, золото подметали в совки (как подметают сор с пола), взвешивали... Вечером подводили итог рабочего дня лагеря. Складывался он из трех взаимозависимых показателей. Количество перелопаченной в забое породы зависело от количества людей, участвующих в этом процессе, и — как результат первых двух показателей — количество килограммов добытого золота.

Начальство строго следило за тем, чтобы в забое работало как можно больше людей.

Ежедневно после утреннего развода начальник лагеря в сопровождении коменданта, старосты, нарядчика и врача обходил опустевший лагерь с проверкой. Кроме obsługi, работающей в самой зоне, кроме дневальных в бараке и пяти-шести больных, имевших освобождение

(больше врачу освобождать не разрешалось, он рисковал сам очнуться в забое), в лагере не должен был оставаться ни один человек. Всех уклонившихся от развода, кого удавалось выявить, сгоняли к вахте, строили по пятеркам в колонну, назначали бригадира и под конвоем отправляли в забой. Таких ежедневно набиралось несколько десятков человек, в основном одних и тех же.

Были среди них всякие: и симулянты, и жулики, и действительно больные, но в большинстве своем это были слабые, полубольные, дистрофичные люди, потерявшие надежду выжить, поставившие на себе крест, плывшие, не сопротивляясь, по течению жизни, вернее... доплывавшие — «лебеди», так их ласково нарекли лагерные остроумцы. На «Глухарь» их ссылали как не нужный никому балласт.

Они безропотно брели к вахте, покорно снося оплеухи и брань старосты или нарядчика, послушно становились в строй в ожидании команды конвоя...

Вот этих-то «гвардейцев» и отдали однажды мне в подчинение, назначив бригадиром над ними.

Всю свою жизнь я избегаю любых начальственных должностей! Отвечать за всех — значит спрашивать с каждого, а это не по мне! Да и что можно было спросить с этих бедолаг, когда пройти пятьсот метров до забоя уже являлось для них подвигом!..

Майское солнышко с каждым днем все больше и больше давало о себе знать... С тающих бортов беспрерывно сочилась и капала талая вода. По подошве забоя бежали, виляя между камнями, крохотные струйки, соединялись, набирали по пути вниз силу, увеличивались... Ушлые, вездесущие лоточники городили в них ловушки для золота: весенняя распутица превратила забои в сплошное месиво раскисшей глины. Моей бригаде поручено было следить за тем, чтобы паводковые и сточные воды, стекавшие в забой, не мешали работе забойщиков, особенно тех, кто гонял тачки на транспортер. Выстроив своих «орлов» вдоль забоя в нескольких метрах друг от друга, я вложил в руки каждого инструмент (лом или лопату) и приказал долбить отводную канавку — русло для сточных вод... Вместе со всеми и сам встал в строй...

Некоторое время спустя, взглянув вдоль шеренги, я обнаружил, что те, кого я поставил в строй первыми, не работают, а сидят, обняв инструмент, там, где первоначально я их поставил... Я поднимал первых — садились последние... Я бежал к тем — садились эти! И так без конца! Как маятник мотался я вдоль строя, от одних к другим. И смех и грех. В конце концов понял, что заставить моих добрых молодцев работать даже Господь Бог не

сможет... Плюнул на все, «наживил» каждого бедолагу — подпер для прочности под грудки ломом или лопатой, чтобы снова не валялись в мокром забое, а сам выбросил белый флаг, сдался, капитулировал...

Тут-то «моя судьба» и напомнила о себе снова: на «Глухаре» появился Николай Иванович.

Он шел по борту забоя, вдоль шеренги моих «гвардейцев», и с каким-то детским изумлением и обидой старался понять, что происходит перед его глазами. Его сопровождали Габдракипов и еще несколько чинов приискового начальства.

А зрелище было действительно жутким и смешным одновременно! Вдоль забоя, подпертые кто ломом, кто лопатой, в «петрушечных» позах огородных пугал застыли в «приветственном почетном карауле» несколько десятков зеков. Вся их «вина» перед начальством заключалась в том, что они оставили свое здоровье в забое раньше, чем кончился срок их заключения.

— Это что за цирк?! Кто придумал? Откуда эти гренадеры, где бригадир?

Я вылез из забоя наверх и предстал перед светлые очи высокого начальства. Начальство сделало вид, что незнакомо со мной.

— Почему люди не работают? — Он мотнул головой в сторону забоя.

— Вы, гражданин начальник, лучше спросите, почему они не стоят на ногах, — вопросом на вопрос, как можно спокойнее, ответил я ему.

— А может, бригадир плох? Может быть, выгнать его следует?

— Может быть! Вы начальство — вам виднее.

По его лицу было понятно, что он не забыл еще нашу первомайскую встречу. Не забыл ее и я.

— Марш в забой! И чтобы люди работали. — По тону, каким это было сказано, я понял, что сегодняшним днем мое бригадирство и закончится. Так оно и оказалось... На следующий день я снова гонял тачку.

Моя ссылка на «Глухарь» произошла скорее в результате стечения несчастных для меня обстоятельств, нежели явилась следствием моего поведения. Понимая это, Сергей Халилович упорно игнорировал указания Лебедева держать меня на общих работах в забое и по возможности облегчал мне жизнь, посылая на легкие, вспомогательные работы...

Так и на этот раз: стоило Николаю Ивановичу вернуться на прииск имени Тимошенко, и я был переведен на другую работу — дежурным на транспортере. В мои обязанности входило: утром запустить транспортерную ленту (включить рубильник), вечером остановить (выключить рубильник). В этой должности я просуществовал еще около

месяца — до очередного визита Лебедева на «Глухарь».

На этот раз он появился вместе с уполномоченным в связи со случаем саморубства.

В бригаду, работавшую неподалеку от меня, в обеденный перерыв принесли хлеб. Раздачей руководил бригадир. Он же и определял, кому какая пайка причитается... Один из его работяг, мелкий вор, «юрок» (татарин), обиделся, посчитал себя обделенным, стал кричать: «Пачиму русский фамилием шиссот грамм, а мой нацменский фамилием читириста грамм, пачиму?»

Не встретив к себе сочувствия в бригаде, психанул: положил руку на трап и трахнул по ней топором — отрубил себе четыре пальца!..

С окровавленной культей его утащили в зону, в санчасть... Кончив обед, бригада ушла работать, а пальцы так и остались на трапе, почти не кровоточащие, отдельно от руки — неправдоподобно огромные...

С саморубами не церемонились. Никаких освобождений от работы не давали. В санчасти останавливали кровь и тут же выгоняли в забой. После смены сажали в карцер. Оперуполномоченный заводил уголовное дело: контрреволюционный саботаж! Минимальный срок — десять лет! Чтобы неповадно было другим.

На «Глухаре» появились артисты. Собственно, не артисты, а музыканты — джаз. В каждом горнопромышленном управлении Дальстроя по линии УСВИТЛа существовали эстрадно-театральные культбригады заключенных-артистов (и профессионалов, и любителей), обслуживавшие лагерь патриотическими концертами. Цель этих мероприятий обычная — поднять моральный дух заключенных, повысить их трудовой энтузиазм.

«Хлеба и зрелищ!» — требовали граждане Древнего Рима. На этих же принципах строились отношения и нашего начальства со своими «гражданами»... Только заключенные «Глухаря» были скромнее: они не претендовали на удовлетворение духовных потребностей, им было не до зрелищ, они просили хлеба.

Но Николай Иванович действовал, исходя из собственных возможностей: увеличивать хлебную норму штрафного прииска было не в его власти, зато артистов у него оказалось навалом — целая бригада, любой жанр, на любой вкус! Вот он и решил поделиться духовной пищей со штрафниками «Глухаря». Они также, кстати, выполняли план в эти дни, как и все остальные участки прииска.

У нас сделалось традицией за всякого рода несбыточные посулы и обещания материального порядка расплачиваться артистами... Просто и

дешево! Искусство с доставкой на дом, как пиво, — «распивочно и на вынос»...

Когда мы избавимся от привычки дефицит внимания к нуждам людей компенсировать за счет искусства? Когда кинематограф перестанет расходовать таланты на бессмысленные потуги превратить сложную, горькую быль страны в лакированную, цветную, красивую и пошлую сказку? Когда театры перестанут врать, теряя последних зрителей?.. Когда станут дискуссионными трибунами своего времени? Глашатаями истинной культуры? Артисты превратились в работников «средств массовой агитации». Стали разменной монетой! Ими расплачиваются (благо, дешево) за глупость, бесхозяйственность, за посулы и обещания, за беспринципность...

«Духовной пищей» массовой культуры закармлили всю страну — от Тихого океана до Балтики... С севера на юг, с востока на запад летят, плывут, едут в поездах, автомобилях, на собачьих и оленьих упряжках, а то и пешедралом («из Керчи в Вологду») армии «саранчи» — пропагандистов антимузыки, «разбойных» рок-групп, орущих дурными нерусскими голосами... Сбирать контрибуцию с населения спешат гастролеры-одиночки, ансамбли, концерты, «звезды» на коньках и без них... Театры мод, балет на льду и прочие представители «массовой культуры», еще недавно любовно пестуемые работниками ЦК ВЛКСМ.

И все это пропагандируется и рекламируется по телевидению, по радио. Старается не отстать и кинематограф, создавая время от времени свои «шедевры»... Бедная Россия! Дорого же ей обходятся некомпетентные лидеры...

Николай Иванович был убежден, что забойщикам будет веселее и легче гонять тачки под бодрые звуки джаза.

Работяги с хмурым вниманием следили за идущими вдоль забоя музыкантами. Облюбовав подходящую каменистую полянку вблизи забоя, они расположились на ней, разобрали инструменты, настроились и, не дожидаясь обеденного перерыва, заиграли...

Чистенькие, одетые в специально сшитые одинаковые костюмчики из американской альпаковой ткани цвета хаки, со свежими умытыми лицами, выбритые, при гастуках... Ну, прямо ангелы в преисподней, не иначе! Их вид, сверкающий на солнце никель инструментов, руслановские «Ва-ленки», «Барон фон дер Пшик», в упругих звуках джаза попавший на «русский штык», — все это не вязалось с угрюмыми, изможденными, потными лицами забойщиков, в грязном сером тряпье копошившихся в мокрой глине оттаявшей породы под присмотром вооруженного конвоя...

Весь этот балаган с джазом казался издевательством, кощунством, пошлостью... Не меньшей, чем визит какой-нибудь знатной благотворительной особы во фронтовую госпиталь, переполненный безрукими и безногими солдатами...

Танцевальные ритмы веселого джаза неслись по распадку, смешиваясь с грохотом буторных приборов, с лязгом и скрежетом транспортерной ленты... «Одессит Мишка», размноженный горным эхом, «не теряя бодрость духа», затихал где-то далеко в сопках, у перевала...

Музыканты в этом представлении не виноваты: они народ подневольный. Но, в отличие от большинства зеков, им повезло — они избежали забоя. Умный за них порадует, дурак позавидует.

В обеденный перерыв меня потребовали к начальству. Когда я вошел, начальник, указав на дверь соседней комнаты, сказал:

— Там сидит главный артист, ихний руководитель. Я говорил ему о тебе. Ступай, он ждет!

Еще в 1939 году в пересыльном лагере Владивостока, где формируются этапы на Колыму, говорили, что в Магадане есть театр, в котором вместе с вольнонаемными артистами работают и заключенные. Правда, с пятьдесят восьмой статьей туда не брали, не положено. Да и боялись: не дай бог, еще используют сцену как трибуну для вражеской пропаганды! Но все же исключения бывали, и довольно часто.

Оказавшись на Колыме, я много раз обращался в КВЧ МАГЛАГа с просьбой направить работать по специальности, в театр или культбригаду. Ни ответа, ни привет на свои заявления я не получал. Или их уничтожали тут же, никуда не отсылая, или они пропадали где-то в пути, а скорее всего время от времени ими топили печи в самом МАГЛАГе.

И вот сейчас я стою перед дверью, за которой ждет меня человек, руководитель культбригады, от свидания с которым, может быть, зависит моя дальнейшая судьба!

Поразительный человек мой доброжелатель: ему бы воспитателем быть в детском доме, а не начальником лагеря! И не просто лагеря, а лагеря штрафного, где содержатся самые что ни есть подонки уголовного мира... Офицер карающих органов?! Большого несоответствия между занимаемой должностью и самим человеком я не встречал, кажется!.. Белая ворона в стае воронья! «Луч света в темном царстве» колымских лагерей! Добросердечный, мягкий, решительно не способный распорядиться судьбами других людей, наказывать, командовать — повезло зекам «Глухаря» с начальником!..

Я вошел в комнату и поздоровался. В ответ мне протянул руку

светлоглазый человек лет сорока и назвал себя. С этой минуты и началось мое знакомство с Константином Александровичем Никаноровым — артистом, режиссером, хорошим человеком! Знакомство, переросшее позже в дружбу, длившуюся все последующие годы заключения на Колыме, ссылки на Таймыре, в Норильске и потом, после нашей реабилитации, вплоть до его смерти в конце пятидесятых годов.

Вот как он сам вспоминал наше первое знакомство тогда на прииске: «В этот день, когда джаз вдохновлял ваших забойщиков, ко мне подошел начальник «Глухаря» и сказал, что в лагере у него находится заключенный, по документам артист, очень просится встретиться и поговорить с ним, уверяет, что снимался в кино в Ленинграде. Он проводил меня в помещение конторы лагеря и попросил подождать...

Когда ты вошел, я сразу же подумал: «Вот он, настоящий Васька Пепел, передо мной!» Больше всего меня поразили твои глаза!.. На дубленном от мороза и непогоды, загорелом лице глаза! Сейчас они светились надеждой!.. Лучились пронзительной синью!.. «Нестеровские», мученические, напряженные и внимательные, отчаянные глаза!..

Чтобы скрыть внезапно подступивший к горлу комок, я стал задавать вопросы, спросил, кто ты, откуда, где учился, работал ли в театре...

Пока ты отвечал, я присматривался к тебе: сухощавое, недокормленное, как у борзой собаки, мускулистое тело... Сильные, натруженные в забое руки, в ссадинах и вечных цыпках... Какой там к черту артист — Васька Пепел стоял передо мной, и никто другой! Васька Пепел — вор и бандит!

Мне хотелось послушать тебя, чтобы понять, что ты представляешь собой, что ты умеешь, и я попросил прочесть мне что-нибудь наизусть.

— Стихи или прозу? — спросил ты.

Я подумал и ответил:

— Лучше прозу. — Мне показалось, что стихи в этой атмосфере прозвучат особенно нелепо.

Ты долго молчал, то ли сосредоточиваясь, то ли вспоминая слова, и без предисловия начал:

— «Ясный зимний полдень... Мороз крепок, трещит, и у Наденьки, которая держит меня под руку, покрываются серебристым инеем кудри на висках и пушок над верхней губой. Мы стоим на высокой горе...»

Я был поражен. Смотрел на тебя и думал: как сумел этот похожий на бандита молодой парень, несмотря на годы жестоких испытаний в сталинских тюрьмах и лагерях, и здесь, в этой штрафной «преисподней», сохранить не только жизнь, но и себя как человека, остаться цельным,

уберечь свое сердце от черствости, не дать ему заржаветь в постоянной борьбе за физическое существование на земле?! Как он сумел сберечь в душе своей и памяти одно из самых изящных и грациозных «стихотворений в прозе» — изысканнейший рассказ Антона Павловича Чехова «Шуточка»...

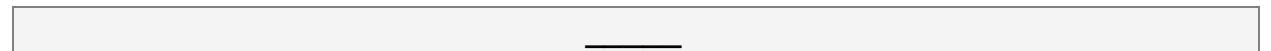
— «...Опять мы летим в страшную пропасть, опять ревет ветер и жужжат полозья, и опять при самом сильном и шумном разлете санок я говорю вполголоса:

— Я люблю вас, Наденька!..»

Опять подступил ком к горлу, и, чтобы не расплакаться и не ввести тем самым в заблуждение относительно причины моей взволнованности (ты мог принять ее на счет своих исполнительских талантов, что было бы неправдой), я остановил тебя, поблагодарил и заверил, что, как только вернусь с бригадой в Усть-Омчуг, непременно доложу о тебе начальству культурно-воспитательного отдела Тенькинских лагерей. Передам твоё желание быть в культбригаде и своё (весьма положительное) о тебе впечатление.

Обед закончился. Звук железяки позвал тебя к вахте, на развод, и ты ушел...

А я еще долго не мог прийти в себя после твоего ухода. Я поклялся самому себе сделать все возможное и невозможное, но во что бы то ни стало вырвать тебя из «Глухаря», пока не поздно! Ведь силы твои не бесконечны. К сожалению, от меня мало что зависело — решать будет начальство, но тогда я был убежден, что мне удастся помочь тебе».



В лагере обнаружилась крупная недостача хлеба.

Испугавшись ответственности и самосуда заключенных, хлеборез сбежал.

Хватились его только перед обедом, когда дневальные пришли получать пайки для своих бригад. Хлеборезка оказалась запертой на все замки. Самого хозяина нигде в лагере не нашли. Подняли тревогу...

С комендантского лагпункта примчался встревоженный Николай Иванович Лебедев. Взломали замки — пусто! Хлеб на сегодня получен не был. Некормленный лагерь бурлил.

Обозленные, согнанные к вахте работяги отказывались покидать зону, требовали законную пайку.

С крыльца вахты, как с трибуны, Николай Иванович призывал работяг соблюдать порядок, не паниковать... Угрожал, уговаривал потерпеть, обещал, как только поднесут хлеб с пекарни, немедленно отправить его в забой для раздачи.

Пекарня находилась в пяти километрах от «Глухаря» на прииске Тимошенко.

Кое-как ему удалось утихомирить работяг, уговорить построиться. Одну за другой конвой принимал бригады и выводил из лагеря за вахту.

Меня вывели из строя и потребовали к начальнику.

Едва я переступил порог кабинета Габдракипова, «моя судьба», находившийся там, встретил приказом:

— Принять хлебрезку! Будет порядок?

Похоже, настал и мой «звездный час»! Начальник, кажется, сменил наконец гнев на милость.

По его лицу я понял, что мою кандидатуру они обсудили и утвердили сообща с Габдракиповым.

Как объяснить им, что перспектива стать хлебрезом мне ни с какой стороны не улыбается... Как объяснить им это?

— Спасибо за доверие, гражданин начальник, но через неделю кончается срок моего заключения — я освобождаюсь. — Я ударился в дипломатию.

Действительно, 5 июля 1943 года истекал пятилетний срок, вынесенный мне заочно Особым совещанием. Мне интересно было знать, как отнесется к этому Лебедев. Но «на челе его высоком не отразилось ничего...» Он, как и я, прекрасно знал, что никакого освобождения не последует, а состоится лишь «спектакль» на тему освобождения. Не последнюю роль сыграет в нем и мой дорогой начальник.

5 июля, на очередное представление комедии под названием «Накось выкуси!» (автор — Иосиф Сталин, в содружестве с Берией Л., Ежовым Н. и др.), разыгрываемой чуть ли не каждый день у письменного стола УРЧ лагеря, буду приглашен и я.

«Моя судьба» попросит меня сесть, неторопливо вытащит из ящика стола важную бумагу с государственным гербом, увенчанную буквами «СССР, СССР, СССР», и зачитает: «Такой-то (имярек) отбыл срок наказания, подлежит освобождению из исправительно-трудовых лагерей, о чем и уведомляется». Под бумагой следуют несколько факсимиле подписей известных всей стране государственных деятелей, олицетворяющих советскую власть, партию и органы безопасности.

Пока я ставлю подпись под документом и благодарю за освобождение,

«моя судьба» вытаскивает другую, не менее важную бумагу, с тем же гербом, в виньетке тех же букв «СССР, СССР, СССР», и зачитывает: «Такой-то (имярек) задерживается в исправительно-трудовых лагерях в качестве заключенного до окончания Великой Отечественной войны». Под бумагой следуют подписи тех же государственных мужей, ныне известных всей стране и как государственные преступники.

— Почему вы молчите, гражданин начальник? Вы не верите, что меня освободят? Говорите, не молчите.

Он с иронией посмотрел на меня.

— Твое освобождение от меня не зависит, ты же знаешь!

— Я знаю. Но кого назначить хлеборезом — зависит от вас.

— Вот я и назначаю тебя.

— Но я никогда этим делом не занимался и не хочу заниматься. Честно говоря — все хлеборезы жулики!

— Я не спрашиваю тебя, хочешь или нет! Я приказываю.

— Приказываете стать жуликом? Неужели нельзя найти другого кого-нибудь?

— Кого? Не видишь, кто в лагере находится?

— Вижу.

Я посмотрел на Габдракипова в надежде найти у него понимание.

— Соглашайся, Жженов! Прощу тебя, — сказал Габдракипов.

— Влипну я с этим хлебом, гражданин начальник! — упорствовал я. — Не умею я торговать, поверьте... Мало вам одного растратчика, что ли?

— Как только найду подходящего человека — заменю. Но сейчас такого нет!.. — Лебедев перешел с начальственного тона на простой, человеческий. — Нельзя дальше держать лагерь голодным. Не видишь, что делается? Меня интересует, будет ли порядок?

Он замолчал, как бы раздумывая, стоит ли сказать мне еще что-то, и, решив, что стоит, неожиданно выпалил:

— Запрос на тебя пришел из Усть-Омчуга. Так что не советую ссориться со мной, артист!

— Это серьезно, гражданин начальник? Вы не шутите? Из культбригады, да? — обрадовался я.

— Не шучу. Так что, будет порядок?

Он точно рассчитал, чем можно сломить мое сопротивление.

— Обещаю, что «комбинаций» с хлебом не будет. А будет ли порядок, не знаю, не уверен. В этом деле я младенец, учтите это.

— Ладно, учту. Иди принимай хлеб и торгуй, младенец.

Вот так я стал хлеборезом.

Получил место, за которое другие дрались, интриговали и давали взятки... Не меньше, чем теперь дают за место в пивном ларьке или на бензоколонке.

Получил место, позволяющее извлекать при желании личную выгоду, стать чуть ли не самым влиятельным придурком, единоличным распорядителем основного жизненного продукта — хлеба!

Хлеб — валюта! Единственная в условиях штрафного лагеря. Даже золото отошло на второй план.

На «Глухаре» можно было иметь кучу золота в кармане и в то же время оставаться голодным! Его некуда было деть.

В обычном лагере работяги ухитрялись передавать золото «вольняшкам». Те сдавали его в золотую кассу по нормальной, установленной государственной цене, а с зеками расплачивались хлебом, продуктами... И тех и других это устраивало. И «вольняшки» зарабатывали, и зеки подкармливались!..

На «Глухаре» вольнонаемных не было, а нести золото начальству не имело смысла. Никаких дополнительных продуктов штрафному лагерю не полагалось. Как бы хорошо лагерь ни работал, как бы ни перевыполнял план — больше штрафной пайки не получишь!

Возможностей расплатиться за добытое сверх нормы золото у начальника не было. Его личный премиальный фонд был настолько мал, что практического значения не имел. Выходило, что, кроме доброго слова, ничего у Габдракипова не было. Одним же добрым словом, как известно, сыт не будешь!..

Зато хлеборез в этой ситуации выросал в могущественного хищника, перед которым лебезили и пресмыкались сотни доведенных до отчаяния зеков.

Объединившись с другими придурками (старостой, нарядчиком, завхозом, поваром), они превращались в стаю хищников.

В союзе с этими вельможными подонками царствовали и несколько отпетых бандитов — «королей» уголовного мира, узурпировавших власть.

Связанная круговой порукой, эта шайка мерзавцев держала в своих руках всех. Не составляло исключение и начальство лагеря — этих приручали взяткой.

Любое сопротивление подавлялось в зародыше. С особенно строптивыми и правдолюбцами расправлялись жестоко, вплоть до убийства, чтобы неповадно было другим. Суд вершили руками «шестерок» — рядовых жуликов, и за страх, и за совесть преданных своим главарям.

С одним из главарей мне довелось познакомиться чуть не сразу же после прибытия на «Глухарь».

— Тебя хочет видеть дядя Паша! — сказал мне один из блатных, с которым я сидел в карцере.

— Зачем я ему понадобился?

— Он сам тебе скажет. Пошли.

Не пойти было нельзя. Ослушников дядя Паша не любил и строго наказывал.

О дяде Паше — «крестном отце» блатного мира Омчагских лагерей — ходили легенды. Я слышал о нем еще на транзитке во Владивостоке, в ожидании этапа на Колыму... Оказывается, и до него добрался Лебедев, и его упек на штрафной «Глухарь»! Ну и молодец Николай Иванович!

В бараке, куда мы пришли, жили придурки и прочие привилегированные зеки, не занятые на грязных физических работах в забое. Здесь было тихо, чисто. Сюда редко заглядывало начальство.

Тут, в самом дальнем углу, и располагался упырь дядя Паша.

Тихий, чахоточного вида «пахан» лет пятидесяти пяти мирно сидел на одеялах, разостланных на нарах, и потягивал из алюминиевой кружки чифинок. За его спиной знакомая компания блатных, недавно вместе со мной отбывавшая десять суток карцера, резалась в карты, в «коротенькую»...

Вот, значит, какой он, знаменитый «дядя Паша»! Вор в законе, один из немногих, оставшихся еще в живых на Колыме «королей». Верховный судья и прокурор всех блатных, «качавших права» друг с другом...

Я поздоровался.

Дядя Паша зацепился за меня колючим, как репей, взглядом. Далеко запрятанные за лохматыми короткими бровями острые глазки изучали меня.

— Доброго здоровьичка, милоч! Доброго здоровьичка... Присаживайся. — Он приветливо закивал головой, не спуская с меня нацеленных глаз.

Я примостился на краешке соседних нар.

— Слышал, что ты артист, милоч, да?

Я утвердительно кивнул головой, не понимая, к чему он клонит.

— Мы тоже артисты! — Дядя Паша улыбнулся, обнажив частокол нержавеющей зубов. — Артисты-рецидивисты!

Блатные засмеялись. Он поставил в сторону кружку, вытащил из-под матраца четвертушку бумаги, развернул ее, спросил:

— Рисовать можешь?

— Честно сказать — совсем не умею.

— Честно, милоч, только честно и никак иначе — нечестных не люблю!.. Врать будешь начальнику, понял меня?

От его тихого, елейного тона стало не по себе, по спине побежали мурашки...

— Вы всё вокруг да около, дядя Паша. Говорите, зачем вызвали? — сказал я.

— Не спеши в Лепеши, в Сандырях ночевать будешь! — дядя Паша любил, видно, присказки. — Дай сперва наглядеться на тебя, милоч... Должен же я понять, с кем имею дело? Значит, говоришь, в гараже РЭКСа диспетчером работал?

— Да.

— Так, ладно, милоч... — Дядя Паша положил на одеяло листок бумаги, тщательно разгладил его и сказал: — Смотри сюда. Узнаёшь?

На бумаге карандашом был набросан какой-то план. Прямоугольники, квадраты, помеченные разными буквами и цифрами, обозначали какие-то строения, что ли?.. Какие-то линии...

— Что это, не понимаю?

— План РЭКСа, где ты работал. Не так что-нибудь?

Я внимательно вгляделся в бумагу.

— Все не так! — сказал я.

— Да? Обожди-ка...

Дядя Паша полез в изголовье, достал чистую бумагу. Завернул угол матраца, расстелил бумагу на нарах, дал мне в руки карандаш и приказал:

— Рисуй по-своему. Только честно, милоч, как есть, понял?

— Чего рисовать-то?

— Всё! Укажи, где контора, где магазин, склад, гараж, где «хавира» завхоза... Рисуй, я подскажу.

Я подчинился. Ничего другого мне и не оставалось. Шутить с дядей Пашей в этих обстоятельствах не следовало. Тем более что смысл происходящего постепенно становился ясен.

Пока я чертил, он внимательно наблюдал, вникал в каждую мелочь, задавал вопросы, требовал подробностей...

Когда я закончил, дядя Паша похвалил меня:

— А говорил, не умеешь рисовать! Все получилось в лучшем виде... Налейте артисту чифирку, что ли! — он повернулся к блатным. — Еще несколько вопросов, милоч!

Мне передали кружку с чифиром. Дядя Паша продолжал:

— Ты магазинщика знаешь?

- Да.
- А завхоза?
- И завхоза знаю.
- Перерыв на обед в магазине бывает?
- А как же!
- Каждый день?
- Да. С часу до двух.
- Магази́нщик обеда́ет у себя?
- Нет. У завхоза.
- Всегда?
- Всегда.
- Магази́н в это время закрыт?
- Да.
- Долго они обедают?
- Не меньше часу, а то и больше. Они ведь поддают за обедом.

Магази́нщик после обеда почти всегда веселенький.

— Так. Ладно, милоч, всё. Спасибо. Канай в барак. Спи.

Неделю спустя на «Глухаре» стало известно, что в РЭКСе во время обеденного перерыва был начисто ограблен магазин.

А еще через пару дней, после вечерней поверки, ко мне подошел незнако́мый зек, сунул в руки небольшой узелок и сказал:

— От дяди Паши.

В узелке лежали несколько больших кусков колотого сахара. Моя доля!

Как говорится, первый блин комом. Не пробыв в должности хлебореза и недели, я понял, что взялся не за свое дело. В первые же сутки я оставил без законной пайки человек пятнадцать, в том числе и себя... Проторговался начисто.

Слава богу, недостатку начальство простило. Списало за счет моей неопытности. Начальник лагеря вынужден был пожертвовать свой личный премиальный фонд. Спасибо, конечно, что поняли, вошли в положение, но дальше-то как? Тем более та же картина повторилась в последующие дни. Я был в панике.

Срочно надо было предпринимать что-то... Но что?

Перво-наперво я проверил всю цепочку, начиная с получения хлеба в пекарне и кончая выдачей хлеба в виде взвешенной пайки из хлеборезки лагеря.

Оказалось, что потери начинались уже в самой пекарне, где хлеб, как правило, взвешивался и отпускался горячим (пекарня не справлялась с

выпечкой). Остывая, он, естественно, терял вес.

Учитывать это никто не хотел, и меньше всего сам заведующий пекарней — широкомордый деяга, получивший срок за какие-то спекулятивные махинации на воле.

Я пытался заговорить с ним о своей проблеме с хлебом, но он не стал меня даже слушать. По-моему, он поставил целью изжить меня вовсе. Чем-то я не устраивал его с первого появления в этой должности. Видимо, я не подходил под его мерку представлений о «настоящем» хлеборезе, с которым можно иметь дело. Поэтому о нужном мне позарез хлебе разговаривать с ним было бесполезно. Впору было следить за ним, чтобы не обвесил...

Хлеб воровали на пекарне. Воровали в пути, те, кто нес его в мешках в лагерь. Воровали оба моих помощника в хлеборезке, пока разделявали на пайки...

Отчаянные воровали прямо из-под ножа. Улучив момент, хватали хлеб через раздаточное окно прямо с весов, рискуя. Сгоряча я мог хватануть ножом, отрубить руку. Отнять уворованную пайку никогда не удавалось, я всегда опаздывал. За время, пока я выскакивал из хлеборезки и догонял укравшего, он ухитрился проглотить пайку не разжевывая. Никакие угрозы, никакие уговоры не действовали. Голодный человек способен на все.

Я кричу: «Руку отрублю!» Мне на это отвечают: «Ну и х... с ней, с рукой! Я есть хочу...»

Так было до меня, и так будет после меня! Так будет всегда, пока существует штрафной лагерь «Глухарь», где волки и овцы согнаны в один общий загон, где царствует произвол, где торжествуют беззаконие и подлость!

Хлеборезку много раз пытались взломать... Сворачивали замки, подпиливали, подкапывали... Устраивали на меня покушения, чтобы завладеть ключами. Без двух ножей за голенищами сапог я не рисковал ходить даже в уборную, боясь неожиданного нападения.

Но и не будь всего этого, ничего не изменилось бы... Хлеба не хватало!

А то дополнительное количество хлеба, полагающееся на «усушку и утруску», и наполовину не покрывало практических его потерь при транспортировке, расфасовке и прочих непредвиденных, но обязательных тратах.

И если даже хлеборез — человек честный (что маловероятно), не обманывает, не ловчит, не обвешивает полуголодных работяг, прилепляя «грузики» под чашку весов, как это практикует большинство, — хлеба не

хватит! Дебет с кредитом не сойдется. Нужда в дополнительном хлебе останется.

Однажды мне довелось познакомиться с неким документом, из которого явствует, что современный лагерный хлеборез не только не озабочен хронической нехваткой хлеба, а наоборот, чуть ли не ежедневно десятками килограммов сдает начальству лишний, сэкономленный. И вместо того, чтобы судить за эти «художества», его же еще и представляют к условно-досрочному освобождению! Как инициатора движения: «Хлеба к обеду в меру бери, хлеб — драгоценность, его береги».

Вот этот документ:

«Сообщаю вам, что гражданин Н.Н. находится в учреждении №... под г. Ярославлем.

С первых же дней заключения показал себя человеком, осознающим свою вину и благотворно действующим на окружающих его заключенных.

Является руководителем группы политинформаторов. Его сообщения всегда содержательны и интересны.

Гр-н Н.Н. — непреременный участник всех концертов самодеятельности в качестве чтеца-конферансье.

На своей основной работе — хлебореза в столовой — явился инициатором движения: «Хлеба к обеду в меру бери, хлеб — драгоценность, его береги». За последний год сэкономлено... кг хлеба.

Характеристика нужна для условно-досрочного освобождения.

Нач. учрежд. №... (подпись)».

Бумага эта была прислана в адрес месткома театра. В ней предлагалось присоединиться к характеристике, данной учреждением №... человеку, до заключения работавшему в театре администратором и осужденному за преступные махинации с антиквариатом и валютой.

Наличие прорезавшихся талантов «политинформатора» и «чтеца-конферансье», обнаруженных лагерным начальством в этом человеке, явилось для меня настолько удивительным и неправдоподобным, что не позволило с достаточной серьезностью и доверием отнестись к остальным положениям этого канцелярского творения и подписаться под характеристикой.

А уж пункт: хлеборез «явился инициатором движения...» — и вовсе из области шедевров последней страницы «Литературной газеты».

Конечно, времена изменились к лучшему, и лагеря уже, наверное, не те, что я знал, — дай-то бог!.. Но вот формализм, щедрость и доброта начальства на характеристики, пахнущие откровенной «липой», никуда, видно, не делись, цветут по-прежнему.

Мой знакомый хлеборез из «политинформаторов», не отсидев положенного срока, с помощью друзей и добренького на характеристики лагерного начальства, условно-досрочно освобожден, по-прежнему живет в Москве и благополучно администрирует в одном из областных театров. Не будет ничего удивительного, если скоро снова окажется в академическом театре, — с такой характеристикой хоть в партии восстанавливайся.

Не знаю, удалось ли бы мне избежать участи большинства хлеборезов — встать на путь обмана, заделаться в конце концов жуликом, — если бы не случайность... Счастливый случай, давший возможность иметь лишний хлеб и тем самым сдержать данную себе клятву никого ни на грамм не обвешивать.

В хлебе под верхней коркой обнаружилась крыса... Распластанная по всей буханке, запеченная крыса, размером с сиамскую кошку.

Радости моей не было предела. Ура!.. О такой удаче я и не мечтал... Выход найден!

Перво-наперво в присутствии Габдракипова и коменданта был составлен соответствующий акт, после чего, запихнув буханку с «кошкой» в мешок, я помчался на пекарню.

Мордатый был в своей закутке на пекарне один. Я вытащил из мешка буханку, сунул ему под нос и приподнял верхнюю корку...

— Смотри сюда, падла! — сказал я ему. — Этот «пушной зверь» продается. Условия божеские: двадцать килограммов хлеба ежедневно в течение месяца. Понял?.. Если устраивает — забирай «зверя», он твой! Если нет — несу эту «кулебяку» Лебедеву! Он с тебя, сука, шкуру сдерет. Ну?.. Решай! Быстро!

В течение нескольких минут «сиамская крыса» была продана. Мордатый даже не торговался. Он понимал, чем это грозит ему, окажись крыса у Лебедева.

Ситуация с хлебом рассосалась по крайней мере на целый месяц.

Для страховки на гвозде в хлеборезке висел акт — на случай возможного вероломства со стороны Мордатого.

На этот же гвоздь, наряду с разными документами, я накалывал для отчета и письменные распоряжения самого Габдракипова о выдаче дополнительного хлеба тому или иному зеку.

Формулировал он свои указания весьма странно:

«Товарищ Жженов, прошу, если можешь, отпусти бригадиру такому-то столько-то кг хлеба. Сегодня его бригада хорошо работала. Габдракипов».

И сколько бы я ни просил его писать свои записки иначе, без компрометирующих его самого слов «товарищ», «прошу», «если

можешь», — писать в приказной форме, как обычно и поступает начальство, давая письменное распоряжение заключенному, Габдракипов меня не слушал.

— В приказном порядке я могу распоряжаться своим фондом, — говорил он. — А распоряжаться хлебом, который мне не принадлежит, я не имею права. Поэтому не приказываю, а прошу.

На случай внезапной проверки, из осторожности, я уничтожил следы его деликатности.

Не знаю, чем бы закончилась в конце концов моя ссылка на «Глухарь», не заболел я желтухой... Как говорится, не было бы счастья — да несчастье помогло!

Желтуха — болезнь заразная. Необходимо было срочно принимать меры.

Я держался на ногах из последних сил, не рискуя оставить хлеборезку без присмотра. Ходил злой, с температурой и головной болью. Желтый, как тухлое яйцо... Габдракипов позвонил Лебедеву.

Когда тот явился, я пришел в контору, где оба они находились, вытащил из-за голенищ ножи, с которыми в последнее время не расставался ни на минуту, достал ключи от хлеборезки, выложил все это на стол и сказал:

— Гражданин начальник! Забирайте своих солдатиков, больше в эту игру я не играю! Что хотите делайте со мной, сажайте в карцер, заводите новое дело, отправляйте в забой... Куда хотите, но хлеборезом не буду!.. Не могу больше, хватит!.. Не умею. Не хочу быть жуликом.

«Моя судьба» мрачно и раздумчиво молчал. Молчал Габдракипов. Молчал и я, понимая, что сейчас решается, может быть, вся моя жизнь...

Нарушил молчание Лебедев:

— До прииска Тимошенко дойти сможешь?

— Попробую... Под гору ведь!

— Тогда марш в барак и собирайся. Через час жду на вахте.

Наконец-то! Прощай, «Глухарь» — век бы мне тебя больше не видеть!.. Прощайте и вы, Сергей Халилович Габдракипов — уважаемый человек! Спасибо вам за все, что вы сделали для меня! Спасибо за вашу доброту и человеческую порядочность.

Несколько дней я провалялся в санитарном изоляторе лагеря на прииске Тимошенко. Когда болезнь отступила и мне стало легче, Николай Иванович вызвал конвоира, вручил ему мое личное дело и с попутной машиной отправил меня в Усть-Омчуг — в артисты, одарив на прощание пачкой махорки.

Константина Александровича Никанорова уже не было в культбригаде, его отозвали в Магадан, в театр.

Я огорчился: все-таки легче начинать новую жизнь, когда рядом находится доброжелательный к тебе человек...

Страшновато мне было еще и потому, что тенькинская культбригада, куда меня с «почетом» доставили, являлась первой эстрадной труппой, с которой начиналась моя сценическая жизнь. Никакого опыта работы в театре или на эстраде у меня не было.

Правда, в 1938 году я сделал попытку поступить в театр — показывался Леониду Федоровичу Макарьеву в Ленинградском театре юного зрителя и был принят (читал «Шуточку»), но судьба тогда распорядилась иначе: через несколько месяцев, еще не начав работать в театре, я был арестован.

И вот снова чеховская «Шуточка» вмешалась в мою жизнь...

Комендантский лагпункт, куда меня привезли, чистенький, ухоженный, напоминал летний лагерь воинской части, с выбеленными известью стенами барачков.

От центра (места проверок и разводов) к барачкам разбежались, наподобие солнечных лучей, утрамбованные щебенкой аккуратные дорожки, ограниченные с боков пунктиром прикопанного, крашеного под кирпич камня.

В барачке, где жили артисты, чисто, просторно, нары одноэтажные. Бачок с кипяченой водой и кружкой, половички на полу, простыни... И это после «Глухаря» — невероятно! Такое чувство, будто попал в рай!

Память вернула в прошлое. Высветила воспоминания.

Камера на Шпалерке... Утро. Нас — двое. Мой сокамерник сидит на откидном металлическом стульчике, вделанном в стенку. Сидит спиной к «глазку» (это не полагается). Перед ним на столике раскрытая книга — благодарность его следователя за «хорошее», послушное поведение на допросах (вместо чечевичной похлебки)... В камере холодно — зима. Ноги моего сокамерника укрыты одеялом. Я, как всегда, хожу. Пять шагов от окна к двери, пять шагов назад — от двери к окну. Привычка, укоренившаяся во мне навсегда. Мы разговариваем. Тема, в общем-то, одна: что делать?..

Он мучается. Его следователь, убедившись, что подследственный патологически боится физической боли, на каждом допросе требует жертв... Требует называть фамилии новых и новых «сообщников» в его контрреволюционной деятельности. Очевидно, следствие сочиняло

очередную версию группового преступления по статье 58, через пункт 11.

После каждого возвращения с допроса, мучимый совестью от того, что опять не устоял перед угрозой быть избитым и опять, в который уже раз, смалодушествовал и подарил следователю очередную порцию фамилий ни в чем не виновных людей, большинство из которых по его вине завтра же окажется в тюрьме, — он страдал и мучился...

Проклинал собственное слабоволие, трусость... Давал пустые зароки впредь быть твердым на допросах, искал у меня сочувствия и понимания, плакал, жаловался...

У всех, кого только что предал, просил прощения и без конца причитал: «Что делать, что делать?»

Тяжело было видеть все это!

Как-то я сказал, что быть ему судьей не хочу, не имею права, я и сам вел себя на следствии по-разному — и бунтовал, и впадал в отчаяние, всякое было... Но всегда это касалось только меня, моей жизни и ничьей больше!.. Его поведение вне моего понимания, поэтому рассчитывать на мое сочувствие не следует. В подобных ситуациях люди на его месте задумываются, стоит ли жить на свете, имея на душе такой великий грех!.. Его никогда и ничем не отмоешь.

Вчера его опять вызывали. Привели с допроса поздно ночью.

Утром, после подъема, подняв койки к стенам (днем сидеть и лежать запрещено) и получив через форточку двери по кружке кипятку с пайкой хлеба и порцией сахара, мы позавтракали и занялись каждый своим обычным делом: он устроился у столика с книгой, я отправился в свой маятниковый поход по камере...

Поначалу говорили о чем-то, но постепенно разговор иссяк, он замолчал, склонившись над книгой, видно, задремал.

Я продолжал мерить шагами камеру, занимаясь сочинительством: придумывал рифмы к именам наших высоких истязателей: «Прочел на двери я — Лаврентий Палыч Берия!»...

Это был период консервации — несколько месяцев меня не вызывали на допросы. Нервы были натянуты до предела, как струны, могли вот-вот лопнуть! В эти именно моменты предельного напряжения и возникла острая потребность стихотворства...

Из задумчивости вывел резкий, нетерпеливый стук ключа об дверь — надзиратель должен видеть все, что делает заключенный! «Запрещается спать с укрытой одеялом головой! Запрещается прислоняться к стене! Запрещается находиться спиной к «глазку»!»

Стук не прекращался. Продолжая ходить, я сказал:

— Повернитесь!.. Он же не отстанет.

Мой сокамерник не реагировал. «Цирик» стучал все настойчивее.

— Да проснитесь вы, наконец! — Я взял его за плечо и потряс.

Под моей рукой он как-то странно осел, сполз со стульчика и рухнул на пол... У его ног, по цементному полу, растекалась лужа крови!.. И он от пояса до башмаков, и одеяло были густо пропитаны кровью...

В камеру ворвались надзиратель, корпусной... Пришел врач.

С пола подобрали остро заточенную пряжку от брюк, по недосмотру оставшуюся при нем. Ею он и вскрыл себе в паху вены. А чтобы не обнаружили раньше времени и не помешали самоубийству, он проделал это, укрыв ноги одеялом.

Его унесли. Унесли и немногие принадлежавшие ему вещи, в том числе и книгу. Она называлась «Повести покойного Ивана Петровича Белкина».

Меня заставили замыть кровь на полу. Жизнь продолжалась...

Находиться дальше в этой камере стало невмоготу, сдали нервы, я попросил корпусного перевести меня. К моему удивлению, просьбу удовлетворили.

Меня перевели куда-то вниз, в сырую полутемную камеру, где двадцать четыре часа в сутки в зарешеченном оконце тускло брезжил электрический свет, а в углу пугал по ночам всегда мокрый канализационный стояк...

Однажды я проснулся от ощущения, что кто-то на меня смотрит. Открыв глаза, я увидел в нескольких сантиметрах от лица морду огромной крысы! Она сидела у меня на груди, на одеяле, и пристально смотрела мне в глаза...

С криком ужаса я поддал крысу вместе с одеялом кверху! Стукнувшись о потолок камеры, она плюхнулась на цемент пола и не торопясь пошла к унитазу, оглядываясь на меня и угрожающе-презрительно «тс-тс-тс-сыкая»... Взобравшись на унитаз, крыса в последний раз оскалилась в мою сторону и исчезла.

После этой ночи я снова запросился в другую камеру. Мне отказали. Сочли повторную просьбу то ли за блажь с моей стороны, то ли за непонятный злой умысел.

Я потребовал врача. Мне отказали. Тогда я, что называется, психанул: отодрал крышку унитаза и погнул с ее помощью все, что можно было погнуть в камере, включая водопроводные трубы. Я заявил: «Если в течение суток не позовут врача, я разобью себе голову о стену! И мне наплевать, устраивает это их или нет!»

Мой вид, очевидно, произвел впечатление на корпусного — врача ко мне привели в тот же день.

Врач тщательно и со знанием дела, как мне показалось, осмотрел меня. Искрестил мне грудь чем-то металлическим, стучал по суставам молоточком, заглядывал в глаза, расспрашивал. В результате на следующий день я переведен был в... общую камеру! К людям! Там находились сто с лишним человек! Я встретил знакомых и по тюрьме, и по воле — там была жизнь! Радость моя не знала границ, будто я не из камеры в камеру переведен, а чудом очутился в репинской «Запорожской сечи».

...Похожее чувство я испытывал и сейчас, пожимая руки и знакомясь со своими новыми товарищами по культбригаде.

Всего нас собрали вместе из разных лагерей Тенькинского управления человек двадцать. Основное ядро бригады составлял джаз-оркестр, имевший двух классных певцов-исполнителей.

Лирический тенор — Тит Епифанович Яковлев, исполнитель русских народных песен. Профессиональный оперный артист, завезенный на Колыму чуть ли не прямо с гастролей Большого театра в Париже. Баритон Саша Грызлов по кличке Часики — кумир колымских женщин! Саша Часики — профессиональный жулик, «честный вор», имевший в своем репертуаре джазовые песни исключительно лирического, любовного жанра, единственно допустимого воровской цензурой к исполнению со сцены (без элементов конъюнктуры или агитации в пользу советской власти).

Из жулья была и пара танцоров, «бацавших» лихо цыганские танцы...

Оригинальный жанр представлял иллюзионист Дима Волков — мой земляк, с мягкими, вкрадчивыми манерами джентльмена из мелодраматического заграничного фильма. Фанатик жанра, до сих пор удивляющий различными фокусами публику сочинских курортов!

После отъезда Никанорова привезли меня в компанию к двоим уже имевшимся в бригаде актерам пополнить раздел драматических артистов. Все вместе мы и разыгрывали одноактные патриотические пьески и скетчи из эстрадных сборников.

За неимением женщин (тогда в культбригаду их еще не допускали) все женские роли, если они встречались, играли сами — как в японском театре Кабуки... Те из нас, кто был помоложе и смазливее. К ним принадлежал и наш новый руководитель — Гриша Маевский, недавно появившийся в бригаде из больницы Усть-Омчуга... Его сняли с этапа, проходившего через Усть-Омчуг, с острым приступом какой-то болезни. В больнице он провалялся три с лишним месяца и по выздоровлении оставлен был в культбригаде, актером.

Сразу после отъезда Никанорова в Магадан культурно-воспитательный отдел управления утвердил Гришу в качестве руководителя культбригады.

Таким образом он стал совмещать обязанности актера, режиссера и администратора. Ему это нравилось... Ладить с начальством он умел, да и оно с ним считалось. В КВО к нему явно благоволили.

С нами он держался просто, не выпендривался, не строил из себя начальство. Иногда, правда, чувствовалась некоторая интонация превосходства, пижонство, свойственное молодым столичным актерам. Он и был москвичом.

В 1940 году завербовался на три года на Колыму, в Магаданский театр.

Причины, по которым люди добровольно меняли Москву на Магадан, были разные...

Молодых влекла романтика окраинных рубежей Родины — комсомол призывал осваивать Сибирь и Дальний Восток.

Многие ехали на Колыму за «длинным рублем», подзаработать.

Были и такие, кто сам предпочитал сменить на время Москву на Магадан, будучи не в ладах с Уголовным кодексом (таких примеров было полно).

Кое-кто выбирал «северо-восточный маршрут» заранее из осторожности: как-никак с Запада все сильнее и сильнее пахло «жареным» — уже гроыхнуло в Финляндии! Большая война, подобно грозе, неотвратимо накатывалась...

Так или иначе, летом 1940 года коренной москвич Гриша Маевский, только что окончивший театральный институт (ГИТИС), появился в заполярном театре Магадана.

Сам по себе его поступок был нормальным и объяснимым.

Многие молодые актеры по окончании студий уезжали в провинциальные театры — из желания больше играть, приобретать опыт, набирать репертуар...

Плюс ко всему, служба в заполярном театре давала право на северную надбавку к зарплате и сохраняла за актером жилплощадь в Москве на все договорное время работы в Заполярье. С этой стороны поступок его никакого недоумения не вызывал.

Смуцало другое: сам Гриша мало был похож на человека, нуждающегося в колымских заработках, как, впрочем, и на идеалиста или романтика, без колебаний расставшегося с соблазнами столицы во имя подвижничества и чистой, бескорыстной любви к театру.

Наш интерес к нему подогревался еще и тем, что срок-то он схлопотал, будучи уже на Колыме, в театре! И срок приличный — червонец

(10 лет)! По самой паршивой статье — 58.14 (контрреволюционный саботаж).

Надо быть семи пядей во лбу, чтобы с такой визитной карточкой не только попасть в культбригаду, но и утвердиться в должности бригадира-руководителя! Конечно, мы были заинтригованы.

Сам Гриша на эти темы никогда не заговаривал, а когда его спрашивали, отвечал иронически, в зависимости от ситуации и компании.

Иногда говорил: жажда приключений позвала его в необжитые суровые края...

Иногда говорил обратное: никакая не романтика, просто поехал заработать побольше денег!

В обоих случаях нельзя было понять: говорит он всерьез или шутит?

Так что истинную причину, приведшую его на Колыму, никто толком и не знал.

Честно говоря, в лагерях и не принято лезть в душу человеку вопреки его желанию. Это личное дело человека. Раз он молчит, значит, так и надо. Захочет рассказать — расскажет сам.

Своей экипировкой Гриша выгодно отличался от нас и был, кажется, единственным из всех, похожим на артиста. У него, вплоть до нижнего белья, сохранились еще свои вольные тряпки, переданные в культбригаду его друзьями из Магадана, между тем как мы, зеки довоенного «материкового» набора, давно щеголяли исключительно в фирменной гулаговской продукции...

На концертах (в лагерях и вольных поселках) он выступал в своем модном костюме цвета асфальта в светлую полоску, кокетливо сидевшем на нем, что лишний раз привлекало к нему внимание публики (особенно женщин) и как бы еще сильнее подчеркивало исключительность его положения среди нас. В довершение ко всему Гриша был красив, как Саша Ширвиндт в молодости!

Год своей жизни в культбригаде вспоминаю как санаторный курорт по сравнению с «Глухарем».

Правда, за это время дважды отдавал богу душу — болел дизентерией и воспалением лимфатических путей ноги...

В обоих случаях спасибо «врагу народа» доктору Пышкину — дорогому земляку, врачу ленинградской Военномедицинской академии, вытацившему меня чуть ли не с того света.

Наш допотопный, из ничего сочиненный лагерными умельцами безродный автобус, на удивление всем переживший всех своих именитых фирменных коллег, продолжал ползать «по долинам и по взгорьям»

обширного Тенькинского управления, хотя и терял на каждом подъеме свои последние лошадиные силы... Подталкиваемый нами, чихая и кашляя, он мужественно преодолевал крутые, занесенные снегом вершины сопок и наледи рек — Теньки, Дусканьи, Минькобы и других, в долинах которых располагались бесчисленные лагеря — адреса наших выступлений.

Во всей Теньке был один-единственный пункт, куда наш ветеран бежал, забыв свои старческие болезни, весело, не нуждаясь в подталкивании на перевале, это — горно-обоганительная фабрика «Вакханка», единственный женский лагерь на Теньке! Эпицентр всех наших желаний!

«Вакханка» — место, где мужчины и женщины, увядшие и поглупевшие друг без друга за годы вынужденного воздержания, с удовольствием возвращались к радости бытия, лихорадочно, презрев все условности, вспоминали забытый ими ритуал продолжения рода человеческого.

С сотворения мира живая природа ежегодно празднует время любви, время брачных игр.

С нашим приездом наступала пора брачных игр и на «Вакханке». И никакие угрозы начальства, никакие охранные меры оказывались в эти дни не в силах оторвать мужчину от женщины... Помешать торжествующей вакханалии любви!

В культбригаде я прижился довольно быстро. Играл в концертах, в скетчах, читал стихи Константина Симонова и других поэтов и даже танцевал «Яблочко» в номере ритмичного танца. Разве что не пел, и то по причине полного отсутствия таланта в этой области.

Конферировал Гриша Маевский как самый представительный из нас и самый импозантный.

Гвоздь программы — оркестр! Половина музыкантов в нем — профессионалы с консерваторским образованием.

Оформлял наши программы Эрик Эдуардович Валентинов, прекрасный художник, скромный человек. До самой своей смерти он работал в Театре русской драмы в Киеве. В 1975 году мы в последний раз свиделись с ним в Москве.

Польза от нас, от нашей культурной и патриотической деятельности, была несомненная. Каждый наш приезд хоть на короткое время, но скрашивал безрадостную лагерную жизнь, отвлекал от горькой, серой повседневности, вселял в людей надежду на близкую победу в войне, а вместе с победой и надежду на счастливые перемены в собственных судьбах. Поэтому везде, куда бы мы ни приезжали, нам были рады, нас

принимали как добрых вестников надежды. Мы помогали людям не падать духом, помогали терпеть!

На прииске «Пионер», куда мы приехали с концертом, ждали магаданское начальство. Как и всегда в таких случаях, местные власти срочно наводили глянец — заранее стараясь предусмотреть и ликвидировать в своем хозяйстве все то, что может вызвать неудовольствие или гнев высокого начальства.

Из лагеря в этот день повыгоняли в забой всех, кого можно и нельзя, вплоть до придурков. Не пощадили и нас, артистов, готовящихся к вечернему выступлению.

— С утра пусть поработают в забое, разомнутся хорошенько, а уж вечером и поиграют — ничего с ними не делается! — распорядился начальник лагеря. — В зоне, кроме дневальных, никого не должно быть!

На разводе нас организовали в бригаду, и мы, под предводительством Гриши Маевского и под добродушное улюлюканье работяг лагеря, прошествовали в забой. Там нас определили на подсобные работы.

Начальник Дальстроя Герой Социалистического Труда генерал Никишов Иван Федорович появился где-то в середине дня.

В окружении огромной свиты начальства всех рангов полномочный хозяин Колымы неспешным шагом обходил забой. Небольшого роста, плотный, с непроницаемой миной на квадратном мужичьем лице, он молча выслушивал пояснения шустрившего рядом с ним начальника прииска. Тот говорил о чем-то, оживленно жестикулируя.

Тут-то ребята и подначили меня: «Слушай, Жорка! Когда еще тебе представится такая счастливая возможность. Ты же пересиживаешь свой срок, пользуйся случаем!.. Подойди к нему и попроси освободить тебя! Такое право у него есть. Бывали случаи, он освобождал самолично — тут же!..» — «Да пошел он со своим правом! Это право не для меня, я для него шпион!» — сопротивлялся я. «А чем ты рискуешь, дурак?! Ну, откажет... И что с этого? А вдруг угадаешь ему под настроение? Иди! Иди... Не ломайся!»

Уговорили. Уж очень мне хотелось освободиться! Я выбрался из забоя и встал на пути Никишова.

— Разрешите обратиться, гражданин начальник Дальстроя! — я дрожал перед ним, как кролик перед удавом.

— Ну, слушаю.

— Я — Жженов Г. С., 1915 года рождения. Русский. Репрессирован заочно Особым совещанием. Срок — 5 лет.

Невиновен. С 5 июля 1943 года пересиживаю срок... Сколько же

можно?! Просьба — освободите, пожалуйста!

— Где работаешь? — спросил он.

Мне бы, болвану, ответить, что в забое, а я, по своему дурацкому прямодушию, глотая от волнения слезы, промямлил:

— В культбригаде.

Угрюмо глянув на меня, он отрубил:

— Ничего. Еще годик-другой поработаешь.

И, отстранив рукой с дороги, пошел дальше.

Пройдя несколько шагов, остановился, повернулся ко мне и спросил:

— А кто у вас бригадир?

Мы стали звать Гришку. К нашему удивлению, тот повел себя странно: вместо того чтобы сразу откликнуться и подойти, сделал вид, что не слышит, нахлобучил чуть ли не по самые глаза шапку, поднял воротник рубашки и норовил смыться ото всех в дальний угол забоя.

Думая, что вопрос Никишова может как-то изменить мою судьбу к лучшему, ребята чуть ли не силой извлекли Гришу из забоя и представили пред светлые очи начальства.

Никишов, вытаращив глаза, уставился на Гришу Маевского. Лицо его побагровело. Никто ничего не понимал.

— Вы?! — только и смог он произнести.

Потом повернулся к свите, разыскал глазами Лебедева («мою судьбу»), подозвал к себе и резко пошел прочь, на ходу за что-то сердито выговаривая Николаю Ивановичу.

Все мы понимали, что произошло что-то неожиданное и неприятное, но что?.. Гриша на наши недоуменные взгляды не реагировал, молчал, явно подавленный чем-то. К вечеру стало ясно, что концерт не состоится. Маевский дал команду собираться. Он явно торопился уехать с «Пионера». Его тревога постепенно передалась и нам... И только когда все было погружено и наш ветеран медленно тронулся к воротам вахты, все вздохнули с облегчением. У вахты к автобусу подошел комендант лагеря с папкой в руке. Развернув папку, прочел:

— Маевский?

— Есть, — тихо отозвался Гриша.

— Инициалы?

— Григорий Михайлович.

— Год рождения?

— 1920-й.

— Статья?

— 58.14.

— Срок?

— 10 лет.

— С вещами.

Гриша молча взял свой узел и, ни с кем из нас не попрощавшись от растерянности, вышел из автобуса.

Комендант открыл ворота. Уже за вахтой автобус остановил Лебедев. Вошел... сел. Долго молчал, вглядываясь в каждого из нас... Ткнул в меня пальцем:

— Примешь бригаду. Куда едете?

— На Хиниканджу, — ответил я.

— Буду там через три дня. Обязательно найдешь меня. Поезжайте. —

И вышел из автобуса.

Мы уехали.

Через три дня Лебедев появился в лагере на Хиникандже. Я подошел к нему.

— А, Жженов!.. Пойдем, поговорим. — Он вывел меня за вахту, выбрал место в сторонке на бревнах, мы сели... закурили.

— Что, интересно, да?

«Моя судьба», теперь уже не старший лейтенант, а капитан, и уже не начальник одного лагеря, а начальник лагерей всего Тенькинского управления, рассказал мне следующее.

Москвич Гриша Маевский, заключив трудовой договор с заполярным театром, в 1940 году появился в Магадане.

Работал в театре. Читал на радио. Руководил самодеятельностью. Словом, вел деятельную, энергичную жизнь, сулившую и в дальнейшем одни только радости... И вдруг война!..

Мировая война! Неизбежность, неотвратимость ее понимали, ждали, и все-таки... Как всякое несчастье, она свалилась неожиданно.

В первое время видимых изменений в его жизни не произошло. От войны Колыма откупалась золотом!

Место руководителя самодеятельности в управлении Дальстроя, полученное им с помощью друзей и генерала, за дочерью которого Гриша ухаживал, шло как бы в зачет армейской службы, создавало лишь иллюзию причастности к армии, практически никак не отражаясь на его жизни: он как работал в театре, так и продолжал работать. Но тревога и какой-то безотчетный страх, появившийся в последнее время, не покидали его.

Отгремел, отошел в прошлое тяжелый 1941-й, унесший на старте войны первые миллионы человеческих жизней.

На смену ему пришел тяжелый 1942-й. Он подверг людей помимо

всего еще и испытанию на прочность, на характер.

Отношения «материка» с Дальстроем были пересмотрены. Сорок второй наложил на Колыму контрибуцию: потребовал не только золота, но и людей.

В порту бухты Нагаево формировались караваны под новобранцев...

Настал день, когда иллюзия причастности обернулась для Гриши жуткой реальностью — его призвали в действующую армию.

Лихорадочные усилия получить бронь или, на худой конец, отсрочку успеха не имели. Друзья были бессильны... Его охватила паника: что делать?.. Был только один человек, способный помочь, — его власть на Колыме безгранична!.. Только бы он захотел принять его, выслушать... Гриша решил пробиться к начальнику Дальстроя. И пробился. Никишов его принял.

Гриша Маевский всячески убеждал Ивана Федоровича в своей незаменимости здесь, в Магадане. Уверял, что в Дальстрое принесет государству больше пользы, чем на фронте... Говорил, что много и с успехом работает в театре, что театр без него окажется в трудном положении, радиокомитет то же... Не забыл упомянуть и самодеятельность вохры... И наконец, в попытке окончательно разжалобить Никишова и склонить на свою сторону, встал перед ним на колени и со слезами в глазах поведал свои дела сердечные.

Он любит девушку — она любит его! У них скоро состоится свадьба. Они молоды, счастливы! Отъезд на фронт — конец их счастью! Он умолял Никишова понять их, не разрушать их союз, умолял пощадить его жизнь.

Тактически весь ход был задуман правильно. Он ошибся только в одном — ошибся в самом Никишове. Не угадал его характера. И проиграл. Проиграл позорно, с треском.

Поначалу Иван Федорович молчал, не понимая, чего хочет от него этот смазливый парень, принять которого еще сегодня утром настойчиво (в который раз) просила жена... Но когда наконец понял, о чем речь, аж задохнулся от ярости... А когда Гриша упал на колени и начал бормотать жалкие, слезливые слова, и вовсе расвирепел:

— Встать! — скомандовал он. — Мерзавец!

Гриша еще пытался что-то сказать...

— Молчать! — Никишов хватил по столу кулаком. — Трус! В то время, когда у меня даже заключенные десятками тысяч подают заявления с просьбой отправить их на фронт, ты, мразь эдакая, ползаешь в ногах, просишь пощады... От чего? От чего тебя, ублюдок, освободить?.. От святого долга защищать Родину? Откуда ты такой взялся, негодяй?!

Счастья, видите ли, ему захотелось — нашел время!.. Вон от меня к чертовой матери!

И выгнал из кабинета.

Любого бы на месте Гриши эта позорная сцена повергла в отчаяние и, уж во всяком случае, заставила бы задуматься: а прав ли я?! Скорей всего человек махнул бы рукой на все и смирился, разделив с другими участь своего поколения в эти трагические годы.

Но Гриша Маевский не покорился судьбе и не сломался.

Унизительный стыд от встречи с Никишовым был, конечно, но он быстро прошел, не оставив сомнений нравственного порядка, не зацепив душу.

Ослепленный животным страхом, он готов был на все, только бы не угодить на фронт!.. Он знал одно: на войне убивают, а он хочет жить! Жить во что бы то ни стало! Ему ведь всего двадцать два года!

Так в наши дни некоторые матери, забыв человеческое достоинство, унижаясь и кощунствуя, «спасают» своих чад от исполнения гражданского долга — службы в армии.

Друзья не оставили Гришу в беде. Ему дали совет спрятаться от армии года на два в... лагере! Получить небольшой срок за какое-нибудь мелкое воровство или хулиганство.

За недостатком времени на раздумывание Гриша остановился на хулиганстве. Местом совершения преступления выбрал квартиру будущей тещи. Подпил для храбрости и, не теряя драгоценного времени, явился в дом своей невесты, где и инсценировал пьяный дебош: угрожая пистолетом, самовольно взятым из стола генерала, устроил невесте сцену ревности. А когда будущая теща пыталась разнять их, оскорбил ее неприличными словами и даже поцарапал слегка для верности (не с ее ли согласия?). Потом в припадке раскаяния пытался «покончить» с собой, стрельнув пару раз в потолок из генеральского пистолета.

Немедленно было возбуждено уголовное дело по статье 74 УК РСФСР, и буквально через пару недель (как и было задумано) бдительное правосудие объявило Грише Маевскому приговор: два года исполнительно-трудовых лагерей за хулиганство.

Этим бы вся эта история и закончилась, если бы не случайность. Жена Никишова устроила своему мужу сцену, упрекая за черствость и нежелание принять участие в судьбе симпатичного молодого артиста, доведенного до преступления и попытки самоубийства.

— А в чем дело? — настороженно спросил Никишов.

Та доверчиво рассказала ему о том, что произошло в доме генерала и

чем все кончилось.

— Ах так! — только и сказал Иван Федорович жене.

После чего вызвал прокурора и приказал тому переквалифицировать дело Маевского на контрреволюционный саботаж.

И когда через некоторое время ему положили на стол приговор Военного трибунала по делу Маевского, осужденного по статье 58.14 к десяти годам лагеря, он собственноручно сделал приписку: «Использовать исключительно на общих подконвойных работах. Каждые три месяца докладывать мне лично о местонахождении заключенного. Никишов».

Так несчастья, одно за другим, росли в жизни Маевского.

Вскоре его этапировали в тайгу, на прииски Теньки. По пути, в Усть-Омчуге, друзья помогли ему отстать от этапа и лечь в больницу. Там он и провалялся три с лишним месяца с неизвестной болезнью, пока те же друзья из КВО МАГЛАГа не устроили ему перевод в культбригаду. В ней Гриша и затерялся, исчез из поля зрения Никишова.

А после отъезда Никанорова в Магаданский театр его сделали руководителем культбригады.

И неизвестно, как бы сложилась его судьба дальше, не случись злополучной встречи с Никишовым на прииске «Пионер».

Вот такую историю услышал я от Лебедева о Грише Маевском.

— Что будет с ним теперь? — спросил я.

— Что, что?.. Отправим на «Глухарь», вот что! — И добавил: — Туда ему и дорога, трус!

На «Глухаре» Гриша пробыл около полугода. Сполна хватил там горюшка, но выжил. В критический момент, когда уже начал «доходить», его брату удалось каким-то непостижимым образом, через своих друзей, работников снабжения прииска имени Буденного, установить контакт с ним. Гришу стали подкармливать...

Прииск Буденного находился через перевал от «Глухаря», по другую сторону сопки. Единственная возможность попасть туда сопряжена была с риском.

Сначала надо было незаметно от конвоя преодолеть охранное оцепление «Глухаря», затем одолеть по-пластунски сам перевал и уже по другую сторону голой, безлесой сопки, прячась за камнями, обмануть охрану прииска Буденного.

Только после этого, смешавшись в забойной суতোлке с местными работягами, можно было получить от верных людей в условленном месте ту или иную помощь. И это еще не все, к вечеру весь этот путь с риском для жизни предстояло повторить еще раз — уже в обратном порядке, чтобы

к концу рабочей смены снова оказаться в забое «Глухаря».

Этим опасным маршрутом пользовались блатные для своих темных дел... Пользовались им и работяги-лоточники из особо отчаянных, бежавших мыть золото на Буденный — там его было больше.

Тимошенковское начальство догадывалось, что вместе со «своим» золотом заключенные несли и «чужое» (на каждом прииске золото разное, золото Буденного крупное, крупчатое), но до поры до времени смотрело на это сквозь пальцы, все равно, откуда бы ни несли, хоть с того света, лишь бы несли, сдавали бы его в кассу Тимошенко.

В свое время и я соблазнился «легким» золотом Буденного, набрался храбрости и пошел... В тот день мне удалось намыть там больше десяти дневных норм (какой резерв на случай непогоды или болезни!). Но играть и дальше в эти «фантастические» игры, испытывать судьбу еще раз мне что-то не захотелось.

А ведь добраться туда с Тимошенко было несравненно легче и безопаснее, чем с «Глухаря» с его штрафным режимом охраны. Там риск быть подстреленным удешевился.

Поэтому характеризовать Гришу как труса я бы не торопился — все гораздо сложнее...

Такой маршрут не для труса. Да трус и не пошел бы!.. А он ходил, пользовался «дорогой жизни» не однажды и не дважды, а регулярно. Это был его единственный шанс! Ничего другого ему не оставалось. Других способов выжить в условиях «Глухаря» не было. И он, как загнанное животное, доверялся инстинкту.

Но человек не только животное. Человек тем и отличается от животного, что живет по закону разума... Не всегда в согласии со своими нравственными принципами и представлениями, но по закону разума.

Когда же нравственные тормоза отказывают и происходит интеллектуальный «перекос», когда животный инстинкт заглушает разум, берет верх, как это случилось в истории с призывом в армию, тогда жди беды!

Она и пришла, не заставила себя долго ждать. Для Гриши начались испытания на прочность... Беда, как известно, не приходит одна.

Сначала суровый приговор трибунала, потом встреча с Никишовым на «Пионере», и вот теперь новое испытание. А испытывать судьбу бесконечно нельзя. Игра в прятки с охраной кончилась плохо — Гришу подстрелили.

Охранник по кличке Бурундук, маленький, плюгавый, злой, как хорек, сидевший в засаде на перевале, подловил его во время одного из походов на

Буденный.

Подпустив к себе метров на тридцать, он заставил Гришу лечь на камни и не двигаться до прихода новой смены вохровцев.

До смены Бурундук не дотерпел. Ему надоело смотреть за Гришей, от скуки он стал развлекаться. Не торопясь, с упора погулял прицелом винтовки по распластанной на огромном гранитном валуне неподвижной живой мишени, тщательно выцелил Грише руку и без всяких к тому причин, просто не удержавшись от охотничьего соблазна, отстрелил ее.

Гриша снова оказался в Усть-Омчуге в больнице, где уже находился однажды. Там ему и ампутировали руку.

Больница, в которой в течение ряда месяцев лежал Гриша, примыкала к зоне комендантского лагпункта, где мы репетировали новые программы. По возвращении из поездок мы носили ему кое-что из пищи, снабжали хлебом, табаком, словом, поддерживали его.

Осенью 1944 года несколько артистов тенькинской культбригады (в том числе и я) были удостоены признания начальства — нас перевели в центральную культбригаду, в Магаданский театр.

С тех пор долгое время о дальнейшей судьбе Гриши я ничего не знал. Слышал только, что по выздоровлении он снова загремел на «Глухарь».

В августе 1945 года оркестр Магаданского театра возвратился из гастрольной поездки по Теньке. Из Омчагской долины они привезли печальную новость: не выдержав штрафного режима «Глухаря», умер Гриша Маевский.

Прошли годы. И вот в конце пятидесятых, прогуливаясь в антракте по фойе Александрейского театра в Ленинграде, где в тот вечер показывали «Гамлета», я столкнулся нос к носу с человеком, как две капли воды похожим на Гришу Маевского. Я опешил. Мы остановились друг перед другом, я в растерянности смотрел на него, он смотрел на меня и улыбался, довольный произведенным впечатлением... И тут только, разглядев, что у него нет руки, я все понял:

— Гришка? Ты?!

— Я, я!.. Здравствуй! — сдержанно, со всегдашней своей полуулыбкой ответил он.

— Смотри-ка!.. Ай-яй-яй... Здравствуй!.. А ведь мы похоронили тебя на «Глухаре»... Долго жить будешь!

— Постараюсь.

Для него встреча не была такой неожиданностью. Он мог знать, что я не умер и после реабилитации вернулся в Ленинград и работаю в театре. К

тому времени я уже успел сняться в нескольких фильмах.

Для меня же встреча с ним была из области мистики, не иначе! И хотя мы оба не принадлежали к людям, бурно выражающим свои чувства, я не сразу пришел в себя от неожиданности.

Справедливости ради надо сказать, что мы никогда не были в особенно близких, дружеских отношениях, не были «корюшками», как говорят на флоте, мы были товарищами по несчастью. Оба вышли из одной купели. Оба были мечены «Глухарем» навсегда! Одно это обязывало нас обоих к проявлениям товарищества, солидарности друг с другом, при всей разнице характеров и взглядов на жизнь.

Когда охи и ахи кончились и разговор перешел в спокойное русло, я спросил Гришу: что он делает в Ленинграде?

— Работаю в Ленконцерте, — ответил он.

— Читаешь?

— Приходи в «Колизей» — увидишь.

Кончился антракт, мы разошлись...

Через несколько дней я зашел в кинотеатр «Колизей». Там в фойе, между сеансами, играл небольшой оркестрик. Гриша вел его программу и что-то читал сам... Мы кивнули друг другу в знак приветствия... Желания поговорить, вспомнить, рассказать о себе, расспросить меня он не выразил. Ну что ж, это его личное дело. Каждый живет по-своему... Я ушел.

В последующие годы, насколько мне известно, актерского имени себе Гриша Маевский так и не создал.

Наша последняя встреча в клубе «Жар-птица» в Париже явилась, как мне кажется, логическим завершением разных судеб людей, выпавших в свое время из одного «глухаринного гнезда»...

Если встреча в Александринке была неожиданной главным образом для меня, то полной неожиданностью для Гриши Маевского было мое появление в Париже, выступление в «Жар-птице» и тот последний разговор с ним, в котором наши жизненные маршруты пересеклись еще раз, чтобы окончательно и навсегда разойтись — мой путь лежал домой, на Восток, его — на Запад, в неизвестность.

Реквием

Театр имени Моссовета, закончив гастроли в Грузии, покидал радушный и шумный Тбилиси.

Во Мцхетском замке, вблизи Тбилиси, с традиционным хлебосольством состоялись проводы.

Председатель Грузинского театрального общества, обаятельнейший Додо Алексидзе (Царство ему Небесное!), великий и бессменный тамада театральных застолий, поднимая бокал вина на прощальном обеде, среди прочих добрых слов в мой адрес сказал:

— Георгий! Раньше ты регулярно из года в год бывал в Грузии. Бывал и как артист, и просто как гость — ты всегда был у нас желанным человеком! Что случилось? Почему ты давно не появлялся? Неужели причина — тот самый памятный тебе злополучный вечер десятилетней давности? Тогда у тебя могло создаться впечатление, что грузины обиделись на тебя. Поверь — это не так... Вернее, не совсем так. Кто-то, может быть, и был обижен — грузины, как и русские, разные бывают — не обижайся и ты! Тебя здесь всегда любили и любят по-прежнему! Рад снова видеть тебя в Грузии — твое здоровье!

Слова Додо Алексидзе заставили задуматься. А ведь действительно, я не был в Тбилиси больше десяти лет! Грузинские кинематографисты оказали тогда честь, пригласив меня, русского артиста, участвовать в празднике грузинского кино, гостеприимно, широко и торжественно отмечавшего в Тбилиси свое пятидесятилетие.

За эти годы по всем экранам страны прошло несколько моих картин, имевших успех у зрителей, — я стал популярным артистом, меня приглашали всюду, я побывал с творческими вечерами во всех уголках России, и не единожды... Облетал и объездил весь Советский Союз, все союзные и автономные республики... И только в Грузию, которую люблю с детства, где у меня столько близких друзей и знакомых, куда по первому зову всегда с радостью стремлюсь, почему-то ни разу не был приглашен за все эти годы... Мне захотелось восстановить в памяти те далекие дни, попытаться понять причину.

Грузины, пригласив меня тогда на торжества, настоятельно просили прилететь за несколько дней до открытия на генеральную репетицию торжественного концерта, в котором предполагали и мое участие. На худой конец, просили быть хотя бы «к сдаче» концерта (цензурный просмотр) —

тогда это считалось обязательным.

Открытие юбилейных дней планировалось провести в самом большом зрительном зале Тбилиси — в зимнем Дворце спорта.

К сожалению, прилететь в Тбилиси заранее, как было условлено, я не смог, появился лишь в день премьеры. Точнее: только под вечер, буквально перед самым началом, когда уже звучали протокольные казенно-торжественные речи начальства.

По режиссерской задумке постановщика концерта, известного грузинского актера и спортивного комментатора Котэ Махарадзе, сценарий моего участия выглядел так.

Мне следовало переодеться в милицкий костюм лейтенанта ГАИ из фильма «Берегись автомобиля», сесть на мотоцикл, проехать через зрительный зал Дворца спорта, выехать на сцену, заглушить там мотоцикл и ждать, когда за рулем автомобиля «Победа» моим же маршрутом на сцене появятся сначала Лейла Абашидзе в образе «Стрекозы» из одноименного фильма, а вслед за ней на вороном коне и звезда грузинского кино — Отари Коберидзе в роли Махмуда из фильма «Мамлюк».

В заключении этого «парада-алле» мне надлежало подойти к микрофону и от имени артистов России поздравить своих коллег, грузинских артистов, а заодно и зрителей, со славным юбилеем.

Все это успел сообщить мне запыхавшийся Котэ Махарадзе по пути к месту нашего «старта». Наскоро проинструктировав, что, где и когда, приказал слушаться во всем Лейлу и Отари и убежал на сцену, традиционно пожелав всем троим ни пуха ни пера...

Задача, в общем-то, не ахти какой сложности при наличии одной-двух репетиций, учитывая, что имеешь дело с техникой...

Но о репетициях не могло быть и речи! Некоторые сложности возникали и по части приветственных слов: честно говоря, ораторствовать я не мастер — речи всегда давались мне с трудом... При одной мысли, что предстоит выступить, безнадежно терял покой и сон, сутками мучаясь в поисках «изюминки» предстоящего выступления.

В этом смысле меня восхищал коллега по театру Ростислав Янович Плятт — удивительный человек! Ему, например, никакого труда не составляло говорить без всякой подготовки на любую тему, сколько угодно времени и всегда блистательно!..

В тот вечер, из-за отсутствия времени, все происходило наспех, импровизационно... Милицкий костюм оказался для меня мал, пришлось довольствоваться одной фуражкой. Хозяин фуражки — настоящий автоинспектор ГАИ — в эти предстартовые минуты торопливо

наводил марафет на мотоцикл, оглаживая тряпкой его дряхлое пенсионное тело (общая черта милицейской техники).

Поступила команда приготовиться к старту. Официальная, торжественная часть заканчивалась.

Дальше, на удивление, все происходило как по писаному.

По условленному сигналу я дал газ своему «долгожителю», лихо промчался через весь зрительный зал и выскочил на сцену, щедро распылив по пути остаточные продукты этилированного бензина и солярки... Глушить мотоцикл не понадобилось, он замолк сам.

На сцену вслед за мной выскочила на «Победе» Лейла, добавив к этилированным запахам и свою долю — «победную»...

А когда прискакал и красавец Отари, вороной конь которого повел себя на сцене не совсем прилично, восторгу зрителей не было конца... Я переждал шум, дождался, когда зал утих окончательно, и подошел к микрофону.

Я надеялся, что давняя любовь к грузинскому кинематографу выручит меня, окажется союзником, поможет в нужный момент родиться нужным словам, и я не ошибся, слова нашлись!..

Многие подмечают схожесть грузинского кино с итальянским. Действительно, их роднит многое. Прежде всего: и то и другое — кино хорошее. И даже очень хорошее — доброе, демократичное, талантливое! Пронизанное человеколюбием, верой в жизнь! Мудрость грузинских картин, их художественная прелесть и обаяние в самобытности, в присутствии этому талантливому народу, рожденному на склонах хмельных виноградников юга, в Божьей благодати экзотического Кавказа, жизнелюбии и юморе.

Вопреки печальной склонности советского кино последних десятилетий к унификации, к верхоглядному подражательству не лучшим образцам коммерческого кино Европы и Америки, к космополитизму — грузинский кинематограф сохранил свое национальное лицо, поэтому он жив-здоров и по-прежнему самобытен.

Свои мысли по этому поводу я и высказал зрителям праздничного Дворца спорта. Речь имела успех. Мне шумно аплодировали.

Мой учитель, Сергей Аполлинариевич Герасимов, почетный гость юбилея, встретив меня позже за кулисами, сделал комплимент: «Ну ты просто златоуст, Жора! Не ожидал... Красиво выступил, молодец!»

К сожалению, этим поздравлением и закончилась для меня радостная часть юбилейного вечера. Дальше следовали сплошные огорчения.

Выполнив свой профессиональный долг, размягченный и довольный

успехом, я сидел в закулисном буфете за рюмкой коньяку и чашечкой кофе, курил сигарету и ждал окончания концерта... Тут меня и поймал мой «злой гений» Котэ Махарадзе.

— Георгий, все было прекрасно! Огромное тебе спасибо. Чувствуешь, как грузины хорошо тебя приняли! — Он расцеловал меня и продолжал: — Просьба к тебе, Георгий! Сделай доброе дело, постой у Вечного огня, пожалуйста! Понимаешь, сейчас начнется торжественный реквием по умершим грузинским актерам, снимавшимся в кино. Зажгут Вечный огонь на сцене, по обеим сторонам которого по стойке «смирно» встанут два актера — русский и грузин. Русский актер — ты, грузин — Отари Коберидзе! А на пяти огромных экранах в это время будут демонстрироваться фрагменты из фильмов, в которых эти артисты снимались... Представляешь, как будет красиво и торжественно!

Я сказал:

— Котэ! Я же не присутствовал ни на одной репетиции. Я не видел концерта. Я не представляю себе, что это такое — Вечный огонь... Когда и куда надо встать? Я как слепой в лесу! Смотри, Котэ, ты рискуешь... Я могу сорвать всю торжественность момента.

Котэ возразил:

— Тебе, Георгий, ничего и не надо знать! Отари в темноте выведет тебя на сцену и поставит где следует. Твое дело стоять смирно на протяжении всего номера... Когда реквием окончится, Отари уведет тебя обратно за кулисы. Все очень просто, Георгий... Ну пожалуйста!

Я согласился.

Когда подошла очередь реквиема и погас свет, Отари взял меня за руку и повел на сцену. Поставив где надо, он занял свое место... Вспыхнул Вечный огонь.

Поначалу все шло торжественно. Притихли зрители. Стрекотали проекционные киноаппараты.... Из кинобудки в направлении сцены темноту пронзали шевелящиеся лучи света, неся на экраны изображение. Тихо и торжественно звучала печальная музыка. И вдруг случилось невообразимое!.. Зал взорвался криками восторга, аплодисментами! Люди буквально неистовствовали. Я ничего не мог понять. Что происходило на экранах за моей спиной? Почему вдруг такой восторг в зале? Нарушить стойку «смирно» и повернуться к экранам я не решился. Так и простоял в недоумении, пока не кончился номер реквиема. За кулисами я спросил Отари, что происходило на экранах. В чем причина такого «шабаша» зрителей?

— На экранах покойный артист Геловани изображал генералиссимуса

Иосифа Виссарионовича Сталина в фильме Чиаурели «Падение Берлина», — сказал Отари.

Я опешил. Ничего себе! Этого мне только и не хватало... Ай-ай-ай! Это что же получается? Выходит, я добровольно участвовал в торжественных поминках по преступнику, загубившему миллионы человеческих жизней... и мою в том числе?! Я — жертва — стоял по стойке «смирно» у Вечного огня своему же палачу?! Ничего себе реквием, пропади он пропадом! Гори он вечным огнем... В самом страшном сне такого не увидишь... Любой фильм ужасов — рождественская сказка по сравнению с этим.

Забавную шутку сыграл со мной Котэ Махарадзе, ничего не скажешь. Я понимаю, он мог и не знать всех гулаговских зигзагов моей судьбы (тогда на подобные темы предпочитали не распространяться), но легче мне от этого все равно не стало... Так или иначе, и ежу понятно, что Геловани лишь предлог, а поминали-то Сталина! И восторг зрителей относился уж никак не к Геловани... В общем, настроение безнадежно рухнуло, вечер был испорчен начисто; расстроенный и обозленный, я отправился в буфет искать утешения там.

Вскоре закончился и концерт. Буфет постепенно заполнялся участниками вечера. Заскочил туда и мой добрый знакомый — Гиви Зардиашвили, один из работников дирекции Дворца спорта. Увидев меня, он обрадовался:

— Тебя-то я и ищу, Георгий! Кончай с этим делом, — он решительно забрал с моего стола коньяк, закуску и отнес буфетчице. — Не порти себе аппетит. Ужинать будем в другом месте. Пошли.

— Куда еще пошли?

— Увидишь. Будешь гостем одного хорошего грузинского дома, не пожалеешь. Мне поручено привести тебя туда, поднимайся.

Возвращаться в гостиницу не хотелось — я слишком был расстроен и возбужден в тот момент, все равно уснуть бы не смог, мне необходимо было разрядиться, ну, а легче всего это происходит на людях, поэтому я не заставил долго уговаривать себя и поднялся из-за стола.

Знать бы, какие испытания ждут меня в эту ночь!

«Хороший дом», куда меня привел Гиви Зардиашвили, оказался квартирой секретаря райкома КПСС одного из крупных районов Тбилиси.

Хозяин дома, симпатичный грузин, на вид лет пятидесяти, с мягкими приятными манерами, преждевременно облысевший, встретил нас улыбкой, представил жене и повел в комнаты знакомить с остальными гостями, уже находившимися в квартире.

Говорят: хочешь постичь человека, понять его вкусы, привычки, пристрастия — посети его жилище! О том же гласит и народная поговорка: «Каков поп — таков и приход!» «Приход», в который меня угораздило попасть, сразил под корень... Так и хотелось воскликнуть: живут же люди!

Залитая хрустальным светом чешских светильников и люстр, огромная квартира сияла, как Георгиевский зал Кремля! Дорогая мебель... Мягкие, приглушающие шаги ковры под ногами... Музыка, звучавшая из невесть где спрятанных стереодинамиков... Белый рояль в громадной гостиной словно лебедь плавал в зеркальных «водах» сверкавшего лаком паркета! Нежданно-негаданно я оказался в святой святых тбилисской номенклатурной элиты.

Что можно было сказать о хозяине дома? Он в порядке! В полном порядке. Никакие беды, нужда, перестройка и прочие стихийные бедствия и катаклизмы в обозримом будущем ему и его домочадцам не грозили! (Что же касается вкуса и пристрастий, то и здесь все было ясно: они тяготели в сторону дефицита, то есть всего того, чего в стране не хватает на всех.)

Каждый гость представлен был персонально, с непременно упоминанием служебного чина. Этим как бы подчеркивалась оказываемая мне честь.

Таким образом, меня удостоили своим рукопожатием несколько республиканских министров, включая и местного министра кинематографии. Чувствовалось, что все гости — одна компания. Все давно и хорошо знают друг друга... Сработались и притерлись друг к другу. Все местные и все — грузины. Русских — двое, я и известный комик Женя Моргунов.

В столовой ждал роскошно сервированный стол персон на двадцать. Хрусталь, серебро, фарфор, редкие грузинские вина, известные мне разве что по названиям, цветы... Так и просился на язык дурацкий, ненавистный многим благополучным грузинам вопрос: на какие «шиши» все это великолепие? И как это сочетается с декларированными партией принципами «социально справедливого общества»?

Конечно, вопрос глупый и неуместный, а в этом случае даже и подлый. Не нравятся эти люди? Тогда зачем ты здесь? Встань и уйди! Тебя пригласили (допустили) в этот дом исключительно для того, чтобы доставить этим людям удовольствие, чтобы удовлетворить и потешить их тщеславие.

Тебе должна быть известна вельможная «слабость» сильных мира сего к артистам. Панибратство со знаменитостью льстит самолюбию, льет елей на душу! Раз ты понимаешь это и не хочешь играть в подобные игры, не

желаешь уподобиться чеховскому генералу на свадьбе — уходи! Никто удерживать тебя не собирается. Твоя философия здесь никому не нужна.

Но уж если смалодушничал и не ушел, если остался и пользуешься гостеприимством, вкушаешь со стола тех, кого в душе презираешь, то, значит, и сам ты недалеко ушел от них, и нечего философствовать. Твоя позиция «социальной справедливости» в этом случае откровенно попахивает социальной завистью. От всех этих самокритичных мыслей настроение оставалось препоганым.

Пригласили к столу. Женя Моргунов, давно предвкушавший хорошо выпить и вкусно поесть, придирчиво оглядывал стол. Не обнаружив на нем ни водки, ни коньяка, только сухие вина, разочарованно произнес в мою сторону, не шибко беспокоясь, что может быть услышан другими:

— «Сухариком», значит, угощают! А я-то думал...

Но хозяин услышал. Сказав несколько фраз по-грузински, отчего за столом рассмеялись и насмешливо посмотрели в сторону Моргунова, он отдал команду женщинам, весь вечер маячившим на втором плане в открытых дверях столовой, на виду у мужчин, как бы предупреждая их желания. Одна из них исчезла и тут же вернулась с графином кристально-прозрачной чачи. Хозяин наполнил фужер до краев и любезно преподнес его Моргунову, оставив ему в персональное владение и весь графин.

Через полчаса Жени за столом не было. Он сладко спал на одном из диванов в соседней комнате.

За грузинским столом не напиваются — пьют сухие виноградные вина. Голова от них остается ясной, да и сам человек не выходит за рамки приличий, не теряет мужского достоинства. Традиционное грузинское застолье — это праздник! Фестиваль комплиментов, которые как из рога изобилия рассыпает тамада перед сидящими, щедро одаривая каждого пьющего вино достоинствами, сущими и мнимыми...

Тамада — это самый уважаемый, самый мудрый, самый красноречивый, самый находчивый и остроумный... словом, «самый-самый» из всех присутствующих, в данном случае — хозяин дома, принимающий гостей. Сегодня, за этим столом, он «премьер-министр»... Он — светофор, чутко регулирующий жизнь разгоряченного алкоголем стола. Ему подчинены все!

И так же, как в Азии, например, грешно покинуть стол, пока не отведаешь плова, подаваемого напоследок, в завершение праздника, неприлично встать из-за грузинского стола раньше, чем тамада не почтит своим вниманием последнего из сидящих, не поднимет бокал за его здоровье. После этого обязательно провозглашается тост за здоровье

самого тамады, и только тогда официальная его миссия считается исчерпанной. Это не значит вовсе, что праздник кончается — грузины на минутку за стол не садятся! Жизнь продолжается, но уже без дирижера, свободно, по правилам перекрестка с выключенным светофором.

Все эти и другие премудрости, а заодно и кто есть кто, я постигал, слушая комплиментарные, заздравные речи тамады, изобилующие превосходными оборотами настолько, что казалось: сидишь среди святых апостолов, а не в кругу партийных секретарей и министров.

Пышные речи, обилие тостов, вкусная пища и хорошее вино сделали благое дело, раздражение понемногу утихло, я стал успокаиваться.

Застолье продолжалось...

Тамада в очередности тостов был принципиален, шел по кругу в направлении часовой стрелки... Я сидел где-то в районе «без четверти» — до меня было еще далеко. А вот к министру кино минутная стрелка приближалась. Было любопытно, что о нем скажут.

Вначале тамада коснулся юбилея. Поздравив министра с большим успехом торжественного вечера, он с особым удовольствием подчеркнул фурор реквиема. Помянули артиста Геловани, сумевшего «талантливо воплотить в себе духовное начало великого Сосо»... Кто-то крикнул: «Слава генералиссимусу!»... Возглас с восторгом был подхвачен, наполнены фужеры, и тамада провозгласил:

— За вождя и учителя всех народов! Лучшего друга советских кинематографистов! Вечная память и слава великому Сосо! Встать! До дна!

«Так... — подумал я. — Началось».

Какой-то злой рок упорно витал надо мной в этот злосчастный вечер. Суждено, кажется, испить сегодня всю чашу испытаний до дна... Я лихорадочно соображал: что же делать? Должен же быть какой-то выход?

Смириться и пить? Не годится. Совесть замучает, не простит малодушия...

Делать вид, что пьешь? Способ этот в сходных обстоятельствах уже опробован мною — не проходит! Не отстанут. Будут терпеливо ждать, пока не выпьешь.

Просто встать из-за стола и уйти? Нельзя. Слишком вызывающе. Нельзя забывать, что находишься не где-нибудь, а в Грузии! Психология здесь иная. Сталин тут прежде всего — свой, земляк! Он здесь владыка половины мира, вождь, а потом уже «тиран» и прочее...

Застолье между тем продолжалось. Сталина поминали чуть ли не в каждом тосте. Пили за «продолжателя генеральной линии партии», за «великого организатора и вдохновителя победы над фашизмом», за «отца и

учителя», «светоча человечества» и т. д., и т. п.

В одну из редких пауз между тостами я попытался попросить слова — бесполезно, куда там!.. Мне объяснили: «Слово получите, когда тамада сделает к вам алаверды. И не надо горячиться — таков обычай!»

И вдруг я успокоился. Настолько успокоился, что безропотно вставал, подчиняясь команде «встать», пил вместе со всеми до дна, когда это требовали... Мне стало легко! Я уже знал, о чем буду говорить.

И когда, наконец, тамада сделал алаверды ко мне, я встал и спросил:

— Ответьте мне, пожалуйста, настоящий грузин кровную обиду прощает или нет?

— Нет... Конечно, нет! — едва ли не хором, весело прокричали мне с разных концов стола.

— Так вот, настоящий русский кровной обиды так же не прощает! Поверьте, я не хочу обидеть никого из сидящих за этим столом... Вы все милые, гостеприимные люди... Надеюсь, вы правильно поймете все, что я сейчас скажу, и не примете сказанное на свой счет.

За столом притихли. Я продолжал, тщательно выговаривая слова:

— В свое время зловещую роль в моей судьбе сыграли три грузина — Сталин, Берия и Гоглидзе!.. Благодаря этим людям я семнадцать лет мыкался по тюрьмам, лагерям и ссылкам. Сейчас я оказался в положении, когда вынужден пить в память одного из троих, а я этого не хочу и не буду! Я встал, чтобы сказать: когда вы пили за Сталина, я пил за Ленина! Извините.

Повисла тишина. Признаться, стало как-то не по себе... Немножко жутковато и любопытно одновременно. Что будет дальше?..

Молчание нарушил один из министров — худощавый, седой, красивый грузин. Изобразив на лице сочувствие, он произнес:

— Да! Печально, конечно. Но, дорогой гость Георгий! Неужели вы думаете, что Иосиф Виссарионович Сталин знал обо всем этом?

— Э-э, бросьте! — резко ответил я. — Согласитесь, трудно поверить, чтобы глава государства не знал о судьбе почти двадцати миллионов его верноподданных.

Опять стало тихо. Совсем тихо. Слышно стало, как через открытое окно в ночи звенели цикады... Прозвучало несколько резких фраз по-грузински, обращенных к тамаде. Мне показалось — спрашивали, что делать?

Хозяин растерянно молчал. Потом, исподлобья тяжело взглянув на меня, допил вино из фужера, перевернул его вверх доньшком и, решительно поставив на стол, поднялся. Его примеру, словно по команде,

последовали и все остальные... Застолье закончилось.

Уже на улице, по пути в гостиницу, я сказал Гиви Зардиашвили, провожавшему меня:

— Извини, Гиви! Понимаю, что подвел тебя, но иначе не мог, поверь — они достали меня! Сначала реквием... потом это... Нет! Не могу, нет!

— Ладно. Не переживай! Все правильно сказал, — успокоил меня Гиви. — Лучше ответь: ты это серьезно?

— Что именно?

— Ты... действительно пил за Ленина?

— Нет, конечно! — рассмеялся я. — Это придумалось вдруг! Применительно к компании... В подобных ситуациях я всегда пью за Константина Сергеевича Станиславского.

Иллюстрации

*Май 20
3ек*



Наша многочисленная семья.
Сидят в центре — отец и мама.
Я — крайний слева в нижнем ряду



Дом, где мы жили (слева), двор, где я мальчишкой тонул мяч

Старший брат Сергей.
Гитлеровцы застрелили его в 1943 году
на глазах у матери, в Мариуполе



Средний брат Борис.
Погиб в лагерях ГУЛага,
на Печоре, в том же 1943-м



Я, младший из братьев.
Все еще живу...

Наш курс в эстрадно-ширковом техникуме
(я — четвертый справа в верхнем ряду). Ленинград, 1931



Еще студентом подготовил
акробатический номер
и профессионально выступал
с ним в Ленинградском
госширке

В начале 1930-х, увлекшись кино, поступил в Ленинградское театральное училище — в мастерскую Сергея Аполлинариевича Герасимова (в центре).
Я — крайний справа во втором ряду



Тридцать три года спустя

ПЕРВЫЕ РОЛИ В КИНО

Бригадир Ветров — «Ошибка героя» (1932)



Маврин — «Комсомольск» (1938)



Я радовался
жизни...



...верил, что буду знаменит и удачлив

В ночь с 4 на 5 июля 1938 года я был арестован,
снят анфас и в профиль...



...«сыграл на рояле»

A fingerprint card showing impressions for the right hand, left hand, and central fingers. The card includes fields for name, date, and other personal information. The name "ИЖЕНОВ" is visible in the top right corner of the card. The card is tilted and has the text "...«сыграл на рояле»" written next to it.

Царь-Колыма. Магаданский театр на гастролях
(я — в центре, с кепкой в руке). Бухта Амбарчик, 1944—1945



СПРАВКА

★
ВОЕННЫЙ ТРИБУНАЛ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
ВОЕННОГО ОКРУГА
ЛЕНИНГРАД
№ 179
Ленинград 90, Герцена, 1

Выдан гр-ну **ЛЕНОВУ** Георгию Степановичу, 1915 года рождения, уроженцу города Ленинграда и том, что определением Военного трибунала Ленинградского военного округа от 2 декабря 1945 года в соответствии с постановлением Особого Совещания при НКВД СССР от 16 июля 1939 года, по которому он был заключен в ИТ сроком на 5 лет в постановлении Особого Совещания при МВ СССР от 5 августа 1949 г., по которому он был сослан на поселение — **ОПРЕДЕЛЕН** и для в отношении **ЛЕНОВА Г.С.** производством прекращено за недостаточности состава преступления.

ДЛЯ ВСТУПЛЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ
(СВЕТЛОПИСЬ)

Григорьев

20384-У Теллер от штаб-квартиры Рязань 2628-54

2 декабря 1955 года я был полностью реабилитирован и в тридцать восемь лет, вернувшись в Питер, начал свою профессиональную жизнь актера сызнова

ЗА СВОЮ ЖИЗНЬ СЫГРАЛ ОКОЛО СОТНИ КИНОРОЛЕЙ

С фильма «Исправленному верить» (1959)
началась в кино «мода» на Жженова



Иван —
«Водил поезда машинист» (1961)

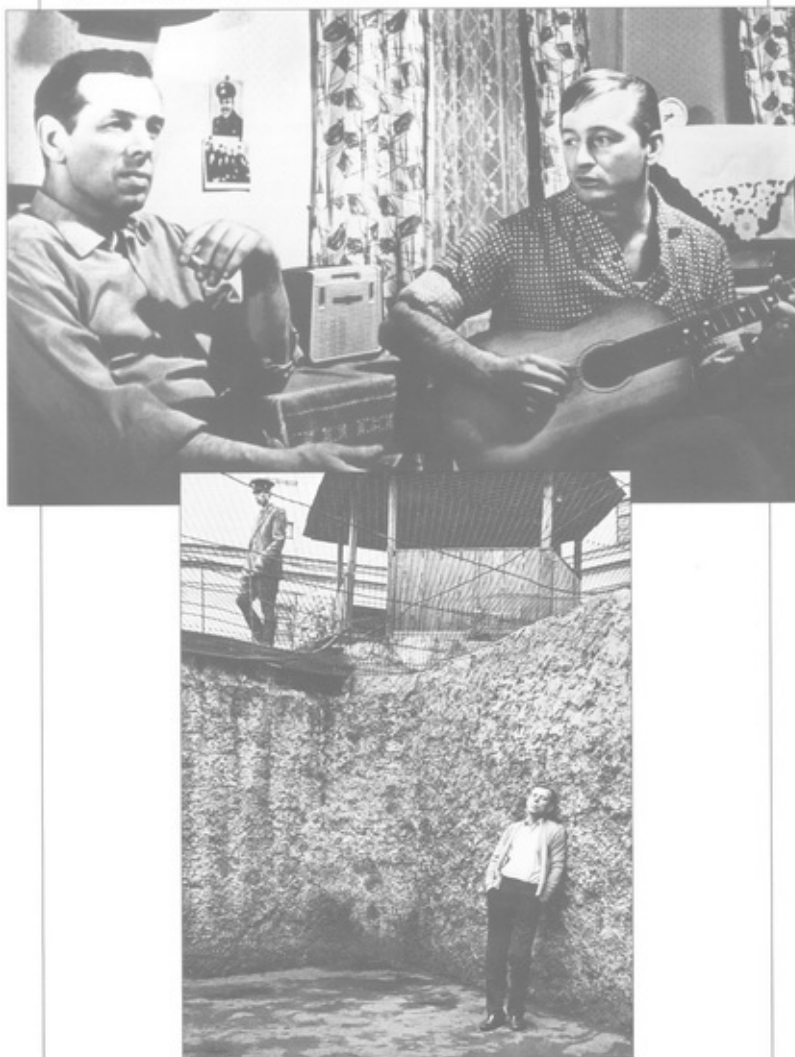


Желтых
(крайний справа) —
«Третья ракета»
(1963)



Гнездилов —
«Тихина» (1963)

Кинотетралогию «Ошибка резидента», «Судьба резидента», «Возвращение резидента» и «Конец операции „Резидент“» посмотрели миллионы кинозрителей



И миллионы телезрителей наблюдали за перипетиями жизни американского сенатора Вилли Старка в фильме «*Вся королевская рать*»



Рабочий момент на съемках

Автоинспектор —
в фильме «Берегись автомобиля» (1966)...



...и в жизни — тридцать лет спустя.
С мэром Москвы Юрием Лужковым



Генерал
Бессонов —
«Горячий снег»
(1972)...



...по-прежнему чувствует себя уверенно среди генералитета,
даже рядом с Верховным главнокомандующим

СНИМАЯСЬ В КИНО, Я НЕ БРОСАЮ РАБОТУ В ТЕАТРЕ

Мишка Назаров —
«Дети солнца»



Брат Лоренцо —
«Ромео и Джульетта»



Диктатор —
«Похороны в Калифорнии»



Астров —
«Дядя Ваня»

С ПАРТНЕРАМИ МНЕ ВСЕГДА ВЕЗЛО

С Лидией Малюковой (моей женой) —
«Каменное гнездо»



С Валентиной Талызиной —
«Царствие земное»



С Ростиславом Пляттом —
«Суд над судьями»



С Людмилой Шапошниковой —
«На Золотом озере»

СУДЬБА ПОДАРИЛА МНЕ МНОГО ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ВСТРЕЧ,
МНОГО ПРЕКРАСНЫХ ДРУЗЕЙ. Я БЛАГОДАРИМ ЕЙ ЗА ЭТО
С Иннокентием Смоктуновским...



...с Сергеем Юрским...

...с Фанной Раневской и Ией Саввиной...



...с Александром Михайловым

Виктор Астафьев не раз убеждал меня: пиши...



Александр Лебедь всегда был мне симпатичен своим остроумием, настоящим мужским характером

ЗА СВОЮ ЖИЗНЬ Я ПОЛУЧИЛ
МНОЖЕСТВО НАГРАД

Одни из самых дорогих —
«Ника» в номинации
«Честь и достоинство»...

...и орден
«За заслуги перед Отечеством»



*ВСЕГДА ЖИЗЬ
С ОЩУЩЕНИЕМ:
МОЙ ДОМ —
МОЯ КРЕПОСТЬ*



С женой
и дочерью
Юлией
на Днепре

Много
лет спустя



Два Георгия.
Внук —
мое будущее

В СВОИ ДЕВЯНОСТО Я ПО-ПРЕЖНЕМУ РАДУЮСЬ ЖИЗНИ

С благодарностью вспоминаю Тёма...

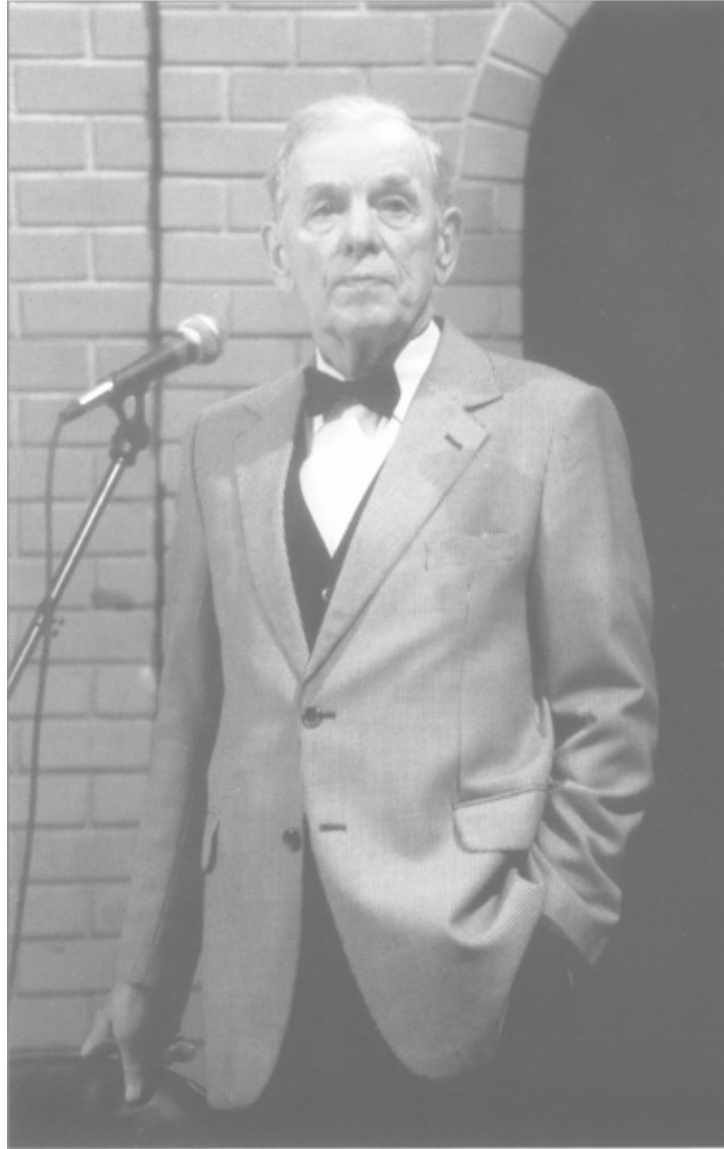
...легко управляюсь на кухне...



...люблю футбол...



...и могу себе позволить
вот такие прыжки, если найду
в лесу ядерный белый гриб



notes

Примечания

1

В «деле» Г. С. Жженова американец назван Файвонмилем.

Так назывался допрос, когда следователи меняются, а подсудимый сутками продолжает стоять — сесть ему не позволяют.

3

Учетно-распределительная часть.

4

Последнему доставался от конвойного убойный удар прикладом.

«Хетагуровками» называли участниц так называемого комсомольского призыва, откликнувшихся на «пламенный зов» командирской жены-дальневосточницы Хетагуровой.